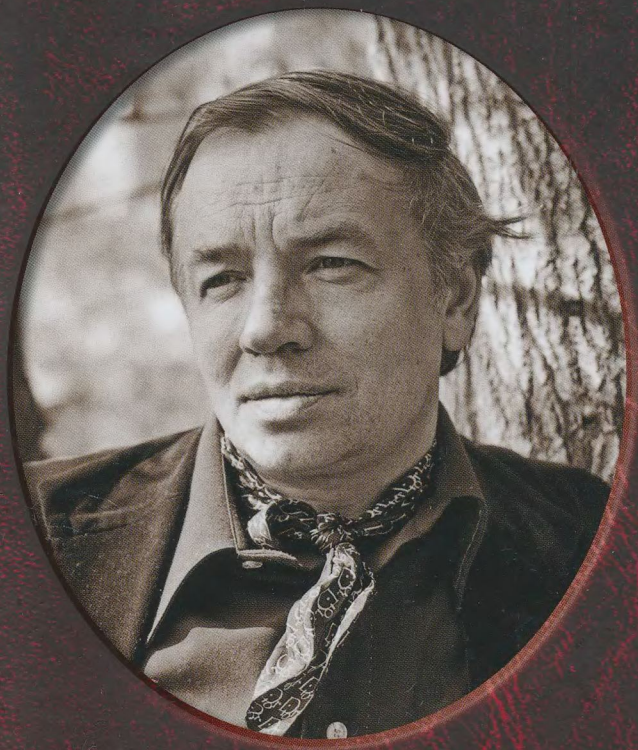
АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Малое собрание сочинений

АЗБУКА

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



Малое собрание сочинений

АЗБУКА

Малое собрание сочинений

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Малое собрание сочинений

АЗБУКА
Санкт-Петербург
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
В 64

Оформление Валерия Гореликова

Вознесенский А. А.

В 64 Малое собрание сочинений / Андрей Вознесенский. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 608 с.

ISBN 978-5-389-06164-4

В Малом собрании сочинений классика современной поэзии Андрея Вознесенского представлены его стихотворения и поэмы, от знаменитой лирики 60-х до очень личных, судьбоносных стихотворений последних лет, а также «рифмы прозы» — воспоминания поэта о встречах с Борисом Пастернаком. Не раз испытает читатель и радость узнавания всенародно любимых золотых шлягеров, созданных на стихи Вознесенского, самый знаменитый из которых — «Миллион алых роз».

«Его считали поэтом 60, 70, 80-х годов, а он стал самым ярким лириком 90-х, и сегодня уже ясно — самым крупным русским поэтом начала XXI века» (К. Кедров).

Сборник предваряет эссе верной спутницы поэта, его легендарной музы и «Озы», писательницы Зои Богуславской.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

© А. Вознесенский (наследники), 2013
© З. Богуславская, предисловие, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-06164-4

З. Б. Богуславская
Предисловие

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.
Андрей Вознесенский

...Когда он лежал посреди переделкинского поля, искусанный дикими собаками; когда стоял на трибуне в Кремле под улюлюканье зала и крик разгневанного Хрущева; когда сидел после аварии в сплющенном такси с размозженной головой — судьба как будто уводила его от смертельной болезни.

Но, увы, каждая из этих катастроф оставляла метины, приближая кончину. Андрея Вознесенского не стало 1 июня 2010 года. Он ушел на даче в Переделкино, произнося строчки заповедного стихотворения. «Не отчаивайся, — сказал мне. — Все обойдется, ведь я — Гойя!» У него была мистическая уверенность, что, если я рядом, ничего плохого не случится. Я сниму боль, найду лекарство, и все обойдется. Но не обошлось. «Мы уплывали вместе, обняв мой крест...» — напророчил он незадолго до кончины.

Вхождение Андрея Вознесенского в поэзию было фантастически ярким и быстрым. Ни ученичества, ни подражания. Уже в четырнадцать ему позвонил *сам* Б. Л. Пастернак, прочитав школьную тетрадь, присланную незнакомым подростком, и пригласил к себе на дачу. Об этой встрече Вознесенский скажет: «Моя жизнь разделилась надвое». Он удостоился чести бывать на Пастернаковских чтениях вместе с кумирами столетия С. Рихтером, Г. Нейгаузом, И. Андрониковым, Д. Журавлевым, Б. Ливановым, а однажды унес домой подаренную ему рукопись «Доктора Живаго»...

Уже тяжелобольной, Борис Леонидович напишет поэту: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро».

В день похорон Пастернака Андрей будет сидеть на крыльце его дачи, содрогаясь от рыданий, не в силах следовать за гробом, который несли мимо него на переделкинское кладбище.

Все более непредсказуемым становится время, но слава Вознесенского растет. На его вечера ломится молодежь, его стихи заучивают наизусть, его публикуют по всему миру в переводах лучших мастеров: Одена, Арагона, Неруды и других...

Персональный вечер поэта в московских «Лужниках» обозначит новое явление российской культуры — исполнение стихов в многотысячных аудиториях.

«Разве эти стихи не напечатаны?» — спросит меня американец Артур Миллер, сидя со мной на стадионе. «Напечатаны? — изумится он, услышав ответ. — Зачем же эти люди тащатся сюда, если могут прочитать все дома, лежа на диване?»

Как объяснить иностранцу, что в России наступило время поэзии?.. Что стихи заменили религию, торжественные оды, словами стихов объясняются в любви и новый сленг входит в современные словари на равных правах с классическим языком?..

И в то же время вокруг каждой публикации Вознесенского разгораются опасные скандалы. Критика негодует по поводу его метафор и рифм, обзывает еретиком, обвиняя в кощунстве, требуя изъять из поэм плохо зашифрованную ненормативную лексику. На улицах Риги появляется плакат некоего поэта А. Жарова, где на фоне мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница» выметают, словно мусор, книгу А. Вознесенского «Треугольная груша».

«Что делать с Вознесенским?!» — воскликнет Николай Асеев в «Литературке».

Однако чем яростнее нападения на Вознесенского, тем сплоченнее отстаивают его эстетику сторонники и почитатели.

Валентин Катаев назовет стихи Вознесенского «депо метафор».

Белла Ахмадулина признается: «За ним я знаю недостаток злой: / кощунственно венчать „гараж“ с „геранью“». И потом: «Ремесло наши души свело, / засветилось звездой голубою. / Я любила значенье свое / лишь в связи и соседстве с тобою».

Теперь Вознесенского принимают в самых элитных слоях общества, он становится членом многих академий.

Эрнст Неизвестный, живущий в США, напишет: «Член десяти академий мира, Вознесенский на самом деле не академик. Он — маг! Поэт и художник — маги по своему назначению и предназначению. Они обладают изначальным знанием подлинных имен вещей и способны вызывать их из небытия к жизни, облекая в форму. Быть может, поэтому вчера, как сегодня, Андрей Вознесенский ворожит-завораживает, иронизируя, играя, перетекая через ритм от звука, намека и недомолвок к всепоглощающему смыслу в пространстве собственных слов и строф».

Казалось, судьба поэта сложилась навечно, его имя вписано с заглавной буквы в историю. Но, увы, чем выше взлетает художник, тем страш-

нее падение. Катастрофа разразилась 7 марта 1963 года, во время встречи Н. С. Хрущева с интеллигенцией в Кремле. Уже разгромивший авангардное искусство, расправившись с альманахом «Тарусские страницы», художниками студии Билютина и, громче других, с Э. Неизвестным, оказавшим вождю сопротивление, генсек обрушился на писателей. Поводом стало интервью А. Вознесенского и В. Аксенова в Польше — там они заявили, что стиль «социалистического реализма» отнюдь не единственный и не лучший на карте советского искусства.

Оборвав выступление Вознесенского, генсек в бешенстве заорал:

— ...Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!.. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда!..

...Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал, хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к *своим*!

А. В. Я русский поэт. Зачем мне уезжать?

И тут Хрущев обозначил исторический водораздел между одной эпохой и другой:

— *Вы думали, что будет оттепель? Оттепель закончилась, начались заморозки.*

И добавил уже лично для Вознесенского:

— Если вы не перестанете думать, что родились гением...

А. В. Я так не думаю.

Н. С. Вы думаете! Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят... Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите... В тюрьму мы вас сажать не будем. Но если вам нравится Запад — граница открыта!

А. В. Дайте мне договорить...

Эту фразу Вознесенский внятно повторил несколько раз. Впоследствии одна из книг о нем будет названа «Дайте мне договорить».

После крика Хрущева Вознесенский был вызван на общее собрание писателей с повесткой об исключении из рядов Союза. В то время это означало запрет на публикации, записи на телевидении и радио. Но Андрей не мог быть «молчащим» поэтом. Потребность, почти наркотическая, быть услышанным, оттачивать стихи на аудитории была одной из важных составляющих его таланта.

...Мы сидим рядом на этом собрании. Накал обличительства выступающих набирает силу. Председатель вызывает Андрея на сцену, ожидая раскаяния за идеологические ошибки. Ситуация становится взрывоопасной. Андрей отказывается говорить, он пишет записку в президиум: сейчас, мол, он не может осознать случившегося, ему нужно время, чтобы обдумать все. И вдруг что-то сдвигается в атмосфере, председатель медлит, он не объявляет голосование за исключение поэта... Минута, другая... Пронесло!

...Жизнь постепенно восстанавливалась. Параллельно запретам началась наша совместная история, она стала явной во время спектакля Ю. Любимова «Антимиры» на Таганке, имевшего шумный успех, превратившегося в общественное явление на многие годы. На первых же гастролях с «Антимирами» в Петербурге худрук Таганки объявил о нашем романе, и те дни ежедневных спектаклей, гуляний до утра с В. Высоцким, В. Смеховым, А. Демидовой, В. Золотухиным, которым подражала вся молодежь, стали нашим, по существу, свадебным путешествием.

...Мы познакомились в Переделкине. Однажды ко мне в комнату ворвался Вознесенский: «У меня будет здесь вечер, я буду читать для вас». Он ежедневно заскакивал ко мне в Дом творчества с новыми строфами родившихся стихов, смешными безделушками. Как-то принес клетку с желто-зелеными попугаями-неразлучниками. Я — замужняя женщина, у которой замечательный сынишка и благополучная семейная жизнь, — конечно же, не воспринимала всерьез внимание поэта. У поэтов объекты увлечений меняются неуловимо быстро, их жизнь многоголоса и разнообразна.

А напоследок моего пребывания в Доме творчества Андрей заявил: «Я выступаю в Дубне, тебе будет интересно и полезно, можем поехать вместе». Он знал, что я начала писать повесть о молодых физиках Дубны и моей мечтой было увидеть главный синхрофазотрон страны. Тогдашнее так называемое бюро пропаганды радостно воспользовалось случаем и предложило мне сделать вступительное слово к авторскому вечеру поэта Вознесенского. Успех был феноменальный, оставшееся время мы проводили в компании новых друзей. Было сумасшедше весело, но никаких романтических отношений не было и в помине.

А год спустя, на концерте в Большом зале Консерватории, сидя рядом с Генрихом Нейгаузом, наблюдая поодаль Святослава Рихтера, я впервые услышала, как Вознесенский читает поэму «Оза». Меня охватывает ужас. Наглость публичного признания невыносима, мне хочется провалиться сквозь землю.

Матерь Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —
стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь забери и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.

Все безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Матерь Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

...Мы прожили вместе сорок шесть лет. Господи, как много мы смеялись все эти годы! Розыгрыши, хулиганство, мечты, любовь — все совпало. Это было время великих дружб, когда компании сплачивались вокруг тех, кого обижали и били. Казалось, что воздух свободы разрушит все стереотипы, не станет принуждения, стилистической и идеологической цензуры, появится вольность думать, говорить, одеваться по-своему, любить рок-н-ролл и твист, возражать насилию чиновника...

Мы не воспринимали время как потерянное. Жизнь была наполнена до краев. По существу, мы не расставались.

...Андрея призвали в армию, он — на сборах, я мчусь в Мукачево (Западная Украина)... Через полчаса вся его комната в перьях, мы что-то сооружаем из подушек, они рвутся, мы хохочем, облепленные перьями, словно птицы...

Оттуда Андрей пошлет Евтушенко стишок: «Был я, Женя, рядовой, / стал я лейтенантик. / Был я вольно-блядовой, / а теперь — женатик».

...В Болгарии ранним утром под окнами моей комнаты внезапно слышу крик: «Ну что ты спишь так долго! Соня! Нас ждут гости, скорее!» Чертыхаясь, проклиная всех гостей, я наскоро одеваюсь, выбегаю под его вопль: «Они же не могут ждать, как ты не понимаешь!» Вижу: за оградой запряженный ослик переминается с ноги на ногу. Повозка увешана бубенцами и немыслимой красоты гирляндами цветов. Еще минута — и мы несемся, затаив дыхание...

Розыгрыши были ежедневные, невинные и не очень. Случился один почти трагический. В Крыму, под Ялтой, праздновался день рождения Виктора Некрасова. Накануне Андрей привез мне в подарок два транзистора (уоки-токи). Один он спрятал в другой комнате, а второй я держала в гостиной, среди присутствующих. «Фишка» заключалась в том, что, сговорившись с виновником торжества, Андрей предлагал послушать свое интервью из Америки, трансляция которого якобы была объявлена по «Вражескому голосу» через полчаса. Из другой комнаты Андрей транслировал свой памфлет на каждого из присутствующих, что воспринималось как абсолютная реальность. Бог мой, что тут началось! Чета Паустовских, крымский поэт Славич и все собравшиеся, абсолютно уверовав в реальность слов Андрея, рванули из комнаты. Появление «автора» было встречено гробовым молчанием... «Предатель! Подлец!» — самое мягкое, что обрушилось на него. И почему-то

сразу началась драка. Некрасову разбили губу, и этот шрам сохранился у него на всю жизнь. Когда много лет спустя я встретила Виктора уже в парижском изгнании и увидела шрам на его губе, мы почти весело вспомнили тот розыгрыш.

...Последние пятнадцать лет Вознесенский был сильно болен. Физическая жизнь убывала, с каждым днем делая его все более беспомощным. Но поэзия, вопреки всему, жила в нем до последнего мига. Безголосый («Теряю голос»), уже с утра окутанный болью («Боль»), он никогда не жаловался, никогда ни с кем не говорил о болезни, неудержимо рвался на люди, пытаясь что-нибудь новое прочитать из своего. И ему суждено было пережить еще один взлет его всенародного признания. Появилась его рок-опера «„Юнона“ и „Авось“» (в основе которой поэма «Авось!») на поразительную музыку Алексея Рыбникова, в постановке Марка Захарова, в театре Ленинского комсомола. С хореографией Владимира Васильева, с участием актеров Николая Караченцова, Лены Шаниной, Александра Абдулова и других. И поныне существующий спектакль собирает битком набитые залы, он прославился в Париже и Нью-Йорке (вывезенный Пьером Карденом, придавшим этому событию особую праздничность и элегантность), лег в основу нескольких фильмов.

Тысячи людей в это же время поют песни на стихи Вознесенского, признанные артисты стремятся исполнять их. Страна ликовала, слушая музыку Раймонда Паулса, а затем и Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева и других. И по сей день во многих уголках мира звучит «Миллион алых роз», открытый в «Лужниках» Аллой Пугачевой, взлетающей на качелях поверх голов зрителей... Мы слышали эту песню в нью-йоркском такси, в ресторанах Токио, в записи и вживую.

Мне хочется закончить этот краткий рассказ словами замечательного прозаика Александра Кабакова, предварившими один из последних сборников поэта: «Мне страшно писать о Вознесенском, я перечитываю, перечитываю его слова сейчас, пытаясь понять, отчего в те странные годы возникало ощущение свободного полета, нарушения всех правил и границ... строчки Вознесенские были нашими небожителями, и его фамилия читалась как звание. Мы говорили его голосом... не будь Вознесенского, время ушло бы из меня бесследно, полностью вытесненное последовавшим шумом лет».

Стихотворения

ПАРАБОЛА

ГОЙЯ

Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.
Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

1957

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой
краснозадою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.

Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра в палец, чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!
Все — начато!
Айда в кино!

1957

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,

а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?
ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть
из Монмартра,
он
дал
кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жен и дерьмо академий.
Он преодолел
тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой
гневно
пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка, рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!
И черт меня нес
меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,
приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство,
любовь
и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
. . . . . .
А может быть, все же прямая — короче?

1958

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили
Лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрещины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.

Религий — нет,
знамений — нет.
Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали
ее горячее чело.
1960

НА ПЛОТАХ

Нас несет Енисей.
Как плоты над огромной
и черной водой,
я — ничей!
Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал
твоих губ, твои волосы,
платье, жилье.
Я плевал
на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь
телеграмм и открыток твоих,
ненавижу, как нож
по ночам ненавидит живых,

ненавижу твой шелк,
проливные нейлоны гардин,
мне нужнее мешок,
чем холстина картин!

Атаманша-тихоня
телефон-автоматной Москвы,
я страшон,
как икона,
почернел и опух от мошки́.

Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,
«нет» — слезам.
«Да» — мужским, продубленным рукам.

«Да» — девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«да» — брандспойтам,
сбивающим горе с меня.
1958

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару —
ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал,
будто доменною печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный,
мы стоим, четыре парня, —

в полушубках, кровь с огнем, —
как их шуткой
шуганем!

Ой, испугу!
Ой, в избушку,
как из пушки, во весь дух:
— Ух!

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

1958

ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как шмели
золотые глаза!

мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты
бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы

я не знаю — тайги
я не знаю — семьи
знаю только зрачки
знаю — зубы твои

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

в каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге.

1958

ВЕЧЕР НА СТРОЙКЕ

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,
не столько Божьей, как людской, —
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимою тайгой.
Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,
они — небритые, как солнце,
и, точно сосны, — шелушась.
И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши — чисто и чумазо,
смахнувши — точно стрекозу,
в ладоши хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.
1958

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.
1959

* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты —
как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут раздельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
мы были раньше, нас больше нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,

и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.
1974

ШКОЛЬНИК

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены влепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого событья!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

1960, 1977

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза — красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил, лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

Его сирень томилась...
Как звездопад,
в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят
без шапок,
будто в храм,
в гудящие угодья
к березам и дубам.

Побеги их — победы.
Уход их — как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
ворочаются корни
корявой пятерней.

1960

* * *

Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

Невмоготу понимать все.

1968

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.
Как поплавки, милиционеры.
Туман.
Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...
Бреду.
Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.
Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина — от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая — вдова,
еще — твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера?
Продавец мороженого!..
Друзья?
Ох эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман — не разберешься,
о чью щеку в тумане трешься?..
Ау!
Туман, туман — не дозовешься.

1958

В МАГАЗИНЕ

Д. Н. Журавлеву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.

И гневным протестом,
что все это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
по курам зеленым

пахнуло слезами,
как будто озоном.

О, слез этих запах
в мычащей ораве.
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий с беконом
подобием мата
ревел, как Бетховен,
земно и лохмато!

В стекло барабаня,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухонемая!

Кассирша, осклабясь,
косилась на солнце
и ленинский абрис
искала
в полсотне.

Но не было Ленина.
Она была
фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1958

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.

1956

ЩИПОК

Андрею Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали матери ковры
плетеной олимпийскою эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шел со вшитою жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придем — коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

1977

ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот —
земля
мотается
в авоське
меридианов и широт!

1956

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами,
две контролерши заснувшими сфинксами...

Я еду в этом тамбуре,
спасаясь от жары,
кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
как девочка примерзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта — с челкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно
и, вся от слез светла,
мне шепчешь нецензурно
чистейшие слова?

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты чище Беатриче
сбегаешь на перрон!

1958

ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

...носы на солнце лупятся,
как живопись на фресках.

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
цветастая грубость!

Здесь праздники в будни,
арбы и арбузы.
Торговки — как бубны,
в браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
торговки салатом,
под стать баобабам
в четыре обхвата!

Базары — пожары.
Здесь огненно, молодо
пылают загаром
не руки, а золото.

В них отблески масел
и вин золотых.
Да здравствует мастер,
что выпишет их!

1958

БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!.»
Балда!
Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелою пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было — начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?..

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это — точно!

1958

* * *

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу в росе,
в березовых просветах
блестит шоссе,

попадали, припали
крылом — к крылу,
педалями — в педали,
рулем — к рулю,

да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей,

большие, изумленные,
глядят с земли,
над ними — мгла зеленая,
смола,
шмели,

в шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат,
о них забыли,
и спят
и спят.

1951

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платьице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенев до немоты,

стоят как каменные бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1957

ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я славлю скважины замочные.
Клевещущему —
исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.

Как пулеметы, телефоны
меня косили наповал.
И, точно тенор — анемоны,
я анонимки получал.

Междугородние звонили.
И голос, пахнущий ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной...

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958

БАЛЛАДА РАБОТЫ

Е. Евтушенко

Петр
Первый —
пот
первый...

Не царский (от шубы,
от баньки с музы́кой),
а радостный
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
дубы топорищ!
Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!

А он только крякал,
упруг и упрям,
расставивши краги,
как башенный кран.

А где-то в Гааге
духовный буян
стонал среди петель,
рубинов и рубищ —
Петер?
Рубенс?!

Он был историческим дипломатом,
но дух его мучил
хмельным диаматом,

где в страшных пучинах
восстаний и путчей
неслись капуцины,
как бочки с капустой.

Его обнаженные идеалы
бугрились, как стеганые одеяла.

Дух жил в стройном гранде,
как бюргер
обрюзгший,
и брюхо моталось
мохнатою
брюквой.
Женившись на внучке,
свихнувшись отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.
Лысея,
дымясь волосами над чаном,
он думал.
И все это было началом,
началом, рождающим Савских и Саский...
Бьет пот —
олимпийский,
торжественный,
царский!

Бьет пот
(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьет пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьет пот,
превращающий на века
художника — в бога, царя — в мужика!
Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги — рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

1958

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

З. Богуславской

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади,
ты — калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глазея.

А факелы над черным Арно
необъяснимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!

Ау! — зовут мои обеты.
Ау! — забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
Ау! — сбегаются палаццо, —
авансы юности опасны! —
попался?!

И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой —
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаешь!
Преуспевающий пай-мальчик.
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?..»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью.

Сажусь в машину. Дверцы мокры.
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки
палаццо в факелах горят.

1962

ДЛИНОНОГО

М. Таривердиеву

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила — походка легкая,
а погодка такая летная!
От земли,
как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,

ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснешь — ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.

Побледневшая, сокрушенная,
вместо водки даешь крюшоны —
под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! — сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длиноного
философского монолога.

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!
Ну а ноги несут сами —
к босанове несут,
к самбе!

Он — приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи, такие лунные!
Длиноного, побойся Бога,
сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается, обхватив,
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длиноного?..
Ты — далёко.

1963

ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да все добро свое раздала,

миру по нитке —
голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь, в чем мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,

искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола — дотла.

1957

ТРЕУГОЛЬНАЯ ГРУША

МАТЬ

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину.

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна,
урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкою
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки,
коммунальные ссоры утишали своей
беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телику:
«Чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку...»

Назовите по имени веру женскую,
независимую пустынницу —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.

1978

САН-ФРАНЦИСКО — КОЛОМЕНСКОЕ...

Сан-Франциско — это Коломенское.
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный,
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;
испаряются надо мной
перепончатые фронтисписы,
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие
наполняются голубым,
как просвечивающие курильщики
тянут красный, тревожный дым.

Это вырезанное из неба
и приколотое к мостам
угрызение за измену
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,
прикурю об огни твои,
сжавши губы на высшем уровне,
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля,
лимузины столпились в ряд,
будто ангелы отлетели,
лишь галоши от них стоят.

Мы — не ангелы. Черт акцизный
шлепнул визу — и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.
Ты, Коломенское,
вздохни...

1966

ГИТАРА

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1960

МОТОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Н. Андросовой

Завораживая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги —
красные, как клешни.
Губы крашеные — грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щеки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины
горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!
Ах, как слезы к белкам прибиты!
И тиранит ее Чингисхан —
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц: «Ну а с ней не мука?
Тоже трюк — по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги...
Пойду напишу
по инстанции...
И царапается, как конокрадка».
Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, — говорю, — горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А ее еще трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальною
тоской!

1960

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке, время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом, как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю как брелоки
прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,
плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зеленая душа.

Мы — битники. Среди хулы
мы — как звереныши, волчата.
Скандалы точно кандалы
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали — я шут?
Я — суд!
Я — Страшный суд. Молись, эпоха.

1961

ФУТБОЛЬНОЕ

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
самый страшный на штрафной,
бито стекол — боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов,
блещет попкой из трусов
левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
прожигательным стеклом
над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
он сипит, как сто сифонов,
ста медалями увенчан,
стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,
мяч,
мяч,
только — вмажь,
вмажь,
вмажь!
«Наши — ваши» — к богу в рай...
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце черной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
с ног срезаются мячи,
И под краном
ты повинный чубчик мочишь,
ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик — самый сок,
прямо в верхний уголок!»

1962

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Обожаю
твой пожар этажей, устремленных к
окрестностям рая!
Я — борзая,
узнавшая гон наконец, я — борзая!
Я тебя догоню и породу твою распознаю.
По базарному дну
ты, как битница, дуешь, босая!
Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,
как мельницы,
по безбожной,
бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.
Вот нелегкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела
и задворки,
и на женщин глаза
отлетали, как будто затворы!
Мне на шею с витрин твои вещи дешевками
вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши про вежливость.

Я спускался в Бродвей, как идут под водой
с аквалангом.
Синей лампой в подвале
плясала твоя негритянка!

Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.
Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...
Я на крыше, как гном, над нью-йоркской стою
планировкой.
На мизинце моем
твое солнце — как божья коровка.

1961

БАЛЛАДА С ГИТАРОЙ

Ах, сыграй мне, Булат,
полечку...
Помнишь полечку, челку пчелочкой?
Парой ласточек —
раз, и нет! —
чиркнут лодочки о паркет.

Пава, панночка, парусок,
как там тонешь наискосок?
Мы прикручены по ночам
к разным мчащимся поездам.

Ах, осин номерок
табельный!
Ах, октябрь, ах, октябрь
таборный!

Отовсюду моя вина,
как винтовка, глядит в меня:
«Ах, забудь, забудь, не глупи,
телевизор, что ли, купи»...

Я живу в Каширском лесничестве.
Рыб слежу. Либо снасть чиню.

Только это мне — ни к чему.
Пуст мой лес, и поля собраны.
Гитарист бы сыграл —
струны сорваны...

1961

* * *

Напоили.

Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?
Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол — отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнеров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдребадан,
семиклашка.

Ее мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз
из передней
и наяривает джаз,
как посредник:

«Все на свете в первый раз,
не сейчас —
так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу,
как образа?

И не флиртуют,
не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

1967

РОК-Н-РОЛЛ

Рок-
н-
ролл —
об стену сандалии!
Ром
в рот — лица как неон.
Ревет
музыка скандальная,
труба
пляшет, как питон!
В тупик
врежутся машины.
Двух
всмятку —
«хау ду ю ду?»
Туз пик — негритос в манишке,
дуй,
дуй
в страшную трубу!
В ту
трубу
мчатся, как в воронку,
лица,
рубища, вопли какаду,
две мадонны
«а la подонок» —
в мясорубочную трубу!

Негр
рыж —
как затменье солнца.
Он жуток,
сумасшедший шут.
Над миром,
точно рыба с зонтиком,
пляшет
с бомбою парашют!

Рок-н-ролл. Факелы бород.
Шарики за ролики! Все — наоборот.
Рок-н-ролл — в юбочках юнцы,
а у женщин пробкой выжжены усы.

(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.
Об стену часы!

«Я носила часики — вдребезги, хреновые!
Босиком по стеклышкам — ой, лады...»
Рок-н-ролл. По белому линолеуму...

(Гы!.. Вы обрежетесь временем, мисс!
Осторожнее!..)
...по белому линолеуму
кровь, кровь —
червонные следы!
Мешайте красные коктейли!
Даешь ерша!
Под бельем дымится, как котельная,
доисторическая душа!

Мы — продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам — камины.
В реве мотороллеров и коров
наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

И к нему от тундры до Атлантики,
вся неоновая от слез,
наша юность...
(«о, только не ее, Рок, Рок, ей нет
еще семнадцати!..»)
Наша юность тянется лунатиком...
Рок! Рок!
SOS! SOS!

1961

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1963

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц ее хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами
разражаются
Глаза!
Пол-лица ошеломленное стекло
вертикальными озерами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь,
как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слез —
иллюминированный взгляд.

«Симулирует», — соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.
Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961

* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя ангел на вид,
люблю твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,

ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение скорости
в возбужденном состоянии...
А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, позабыв про ОРУД,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

За эти года световые
пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнейшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся —
а ты божество!
И все-таки нас большинство.

1963

ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой Аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.

Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».
12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.
Мы растворяемся в людских количествах,
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как Бог,
лишь Маяковского не уберег.

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но, где б я ни был — в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается
магически
гудящей
раковиною
гиганта
ухо
Политехнического!

1962

РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1961

АНТИМИРЫ

* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы

природа в реке и во мне
и где-то еще — извне

три красные солнца горят
три рощи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок
забилась как уголек

она меня не простит
она еще отомстит

мне светит ее лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца! Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Букашкина с пацаном —

газанем!

«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослепленная и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоет о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над черной речкой
резанул
человечий
крик!

Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.

Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев,
вонзились
в воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами
бегуна, над запекшимися шерстинками шеи
блеснуло лицо.
Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.
Как бы слился с криком.
Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,

над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рождают?
Ведь знала мама — меня раздавят,

о, кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,

в метро,
в троллейбусе,

в магазине
«Приветик, вот вы» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во
«Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963

БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зеленом
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась, милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдет.
Все образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста.
Официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдет
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: чайку, молодежь,
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, слезами упьюсь,
и в годовщину подобных кочевий
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях.

«Любят — не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире кержацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьем за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шею.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему,
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печенка, отбита...

Ну а пока что – да здравствует бой.
Вам еще взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964

АВТОПОРТРЕТ

Он тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки
трещит мой матрац.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик, — хрипит он, — российской поэзии.
Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие?
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...
А может, покаемся?..
Послюним газетку и через минутку
свернем самокритику как самокрутку?..»

Зачем он тебя обнимает при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!
SOS!

1963

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если, правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад
разомкнемся немым изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

* * *

Мы — кочевые,
мы — кочевые,
мы, очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,
чужие стены гудят, как храмы,
чужие драмы,

со стен пожаром холсты и схимники...
а ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого,
и как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,
еще не выветрившиеся вполне?..

Милая, милая, что с тобой?
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны,
людье,
которым любовь опасна!

Опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
об стены треснуть
сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

1964

* * *

Сирень похожа на Париж,
горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,
страшон от счастья и тоски,
Париж,
как пчелы,
собираю
в мои подглазные мешки.

1963

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»
И вдруг —

город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали
прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,

Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
                он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
                они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
                как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
                клетках,
свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские
                видения,
президент мужского клуба потрясался
                разоблачениями
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),

над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
                в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
        наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
                мудрый дух
в соломинку,
                как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
мой Сартр!
Вдруг все обречено?!»

Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз», —
сказала женщина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы.

— О! о! —
последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

* * *

Ж.-П. Сартру

Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я»

невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!

а весной
мне снится
что я —
восьмой

1962

МУРОМСКИЙ СРУБ

Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свел в кулак
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль
над скамейкою замшелой, как пищаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать — дело, недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои...

1963

СТАРУХИ КАЗИНО

Старухи,
старухи —
стоухи,
сторуки,

мудры
по-паучьи,
сосут авторучки,
старухи в сторонке,
как мухи,
стооки,

их щеки из теми
горящи и сухи,
колдуют в «системах»,
строчат закорюки,

волнуются бестии,
спрут электрический...

О оргии девственниц!
Секс платонический!

В них чувственность ноет,
как ноги в калеке...
Старухи
сверхзнойно
рубают в рулетку!

Их общий любовник
разлегся, разбойник.
Вокруг, как хоругви,
робеют старухи.

Ах, как беззаветно
в них светятся муки!..
Свои здесь
Джульетты,
мадонны и шлюхи,

как рыжая страстна!
А та — ледяная,
а в шляпке из страуса
крутит динаму,

трепещет вульгарно,
ревнует к подруге.
Потухли вулканы,
шуруйте, старухи.

...А с краю, моргая,
сияет бабуся:
она промотала
невесткины
бусы.
1963

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИГУЛДУ

Отшельничаю, берложу,
отлеживаюсь в березах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стреме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,
далекие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зерна в зеленой мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,

умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
лесами твоими, тропинками,
читаю твое лицо,
как легкое озерцо,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова как разминированная —
спасенная? спасительная!

ты младше меня? старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трехлетняя
писает по биссектриске!

«мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,

тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,

и это круговращение
щемяще, как возвращенье....

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед
улетает
Сигулда,
как связка
зеленых
шаров!

1963

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!

Шарф мой — Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,

шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шоферов дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

Я к стене его прикноплю,
как оно в Лонжюмо и Сен-Клу,

рядом с ним загорятся мазки
талой Москвы,
милой Москвы...

1963

* * *

Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых
в облаке пуха, крика
крыльями трехметровыми
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной
пленницею, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи:
«Цаце надеть брелоки!»

Бережно, не калеча,
цап! — и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,

над анкерами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая — окольцованная,

жалуется над безднами
участь ее двойная:
на небесах — земная,
а на земле — небесная,

над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,

как бы ты ни металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит —

с неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий,
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбачьей.

1963

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

В дни неслыханно болевые
быть без сердца — мечта.
Чемпионы лупили навылет —
ни черта!

Продырявленный, точно решёта,
утишаю ажиотаж:
«Поглазейте в меня, как в решетку, —
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружье,
где,
привязано нитью болезненной,
бьешься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово сердце
мое?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Все болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавою —
я от судороги валюсь!

Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее — выносить.

Но еще невозможней —
вдруг снайпер
срежет
нить!

1965

ПЛАЧ
ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!
Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине, —

встаньте!

Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.
Раскройтесь, гробы,
как складные ножи гиганта,

вы встаньте, —
Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И Вы, Член Президиума Верховного Совета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь
на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих
городишках,
встаньте,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,
Ландау, погибший в косом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,
вы помните школьные банты?
Встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте
(я не о кастратах — о самоубийцах,

кто саморастратил
святые крупицы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой
в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный
Гамлет?
Вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.
Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —
Вечная слава!
Вечная слава!

1965

* * *

Матери сиротеют.
Дети их покидают.

Ты
мой ребенок,
мама,
брошенный
мой
ребенок.

1965

* * *

Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик
и диафрагмою мое плечо щекочет.

«Билеты? — скажешь ты. — Пусть пропадают. Лень».
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к
Диогену — лень.
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень».
Лень.
И лень окончить мысль. Сегодня воскресень...

Колхозник на дороге
Разлегся подшофе
сатиром козлоногим,
босой и в галифе.

1965

БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране —
не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи ему в паяльник солоницу.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?

Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны,
люди,
лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,
и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

* * *

Ты пролетом в моих городках,
ты пролетом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое.
«Приготовьте билетики». Баста.
Маханем!

Мало времени, чтоб мельтешить.
Перелетные, стонем пронзительно.
Я пролетом в тебе,
моя жизнь!
Мы транзитны.

Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после поймем,
если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоем.
Остальное — пролетом!

1965

ЗОВ ОЗЕРА

Памяти жертв фашизма

Певзнер 1903, Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
зазывает на славный клев,
только кровь
на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —
а по рылу — могу,
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живою водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,

ты пощупай ее ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...

— Не могу, — говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!

Третью ночь, как Костров пьет.
И ночами зовет с обрыва.
И к нему
является
рыба
чудо-юдо озерных вод!

«Рыба,
летучая рыба,
с гневным лицом Мадонны,
с плавниками, белыми,
как свистят паровозы,
рыба,

Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь еще,
с обрывком
колючки проволоки или рыболовным
крючком
в верхней губе, рыба,

рыба боли и печали,
прости меня,
прокляни,
но что-нибудь ответь...»
Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.

Изумленнейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Лебедев 1916, Бирман 1941, Румер 1902, Бойко оба 1933.
1965

* * *

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твое лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом впиваешься в экраны —
украли!
Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живешь — бежишь под шепот во дворе:
«Ишь баба — как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.
И я глазел, болельщик и лопух,
как через страны,
будто в волейбол,
летит к другой лицо твое и боль!

Подранком, оторвавшимся от стаи,
ты тянешься в актерские пристанища,
ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка, выжидающая мышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолета пламя на лету,
горячим полотенцем трешь со зла,
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерег.
Он красоты твоей не уберег.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
Наинепоправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистной
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалей.
Вот я живу. И это тяжелей.
. . . . . .

Больничные палаты из дюраля.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
за морем орет.
Ей жгут лицо глаза твои и рот.
1965

* * *

«Умирайте вовремя.
Помните регламент...»
Вороны,
вороны
надо мной горланят.

Ходит как посмешище
трезвый несказанно
Есенин неповесившийся
с белыми глазами...

Обещаю вовремя
выполнить завет —
через тыщу
лет!

1964

КИЖ-ОЗЕРО

Мы — Кижи,
я — киж, а ты — кижиха.
Ни души.
И все наши пожитки —
ты, да я, да простенький плащишко,
да два прошлых,
чтобы распроститься!

Мы чужи
наветам и наушникам,
те Кижи
решат твое замужество,
надоело прятаться и мучиться,
лживые обрыдли стеллажи,
люди мы — не электроужи,
от шпионов, от домашней лжи
нас с тобой упрятали Кижи.

Спят Кижи,
как совы на нашесте,
ворожбы,
пожарища,
нашествия.
Мы свежи —
как заросли и воды,
оккупированные
свободой!
Кыш, Кижи...
...а где-нибудь на Каме
два подобья наших с рюкзаками,
он, она —
и все их багажи,
убежали и — недосягаемы.
Через всю Россию
ночниками
их костры — как микромятежи.

Раньше в скит бежали от грехов,
нынче удаляются в любовь.

*

Горожанка сходит с теплохода.
В сруб вошла.
Смыкаются над ней,
как репейник вровень небосводу,
купола мохнатые Кижей.

Чем томит тоска ее душевная?
Вы, Кижи,
непредотвратимое крушение
отведите от ее души.

Завтра эта женщина оставит
дом, семью и стены запалит.
Вы, Кижи,
кружитесь скорбной стаей.
Сердце ее тайное болит.

Женщиною быть — самосожженье,
самовозрожденье из огня.
Сколько раз служила ты мишенью?!
Сколько еще будешь за меня?!

Есть Второе Сердце — как дыханье.
Перенапряжение души
порождает
новое познанье...
Будьте акушерами,
Кижи.

1964

МОНОЛОГ БИОЛОГА

Растут распады
из чувств влекущих.
Вчера мы спаривали
лягушек.

На черном пластике
изумрудно
сжимались празднично
два чутких чуда.

Ввожу пинцеты,
вонжу кусачки —
сожмется крепче
страсть лягушачья.

Как будто пытки
избытком страсти
преображаются
в источник счастья.

Но кульминанта
сломилась к спаду —
чтоб вы распались,
так мало надо.

Мои кусачки
теперь источник
их угасания
и мук истошных.

Что раньше радовало,
сближало,
теперь их ранит
и обижает.

Затосковали.
Как сфинксы — варвары,
ушли в скафандры,
вращая фарами.

Закаты мира.
Века. Народы.
Лягухи милые,
мои уроды.

1966

ШАФЕР

На свадебном свальном пиру,
бренча номерными ключами,
я музыку подберу.
Получится слово: печально.

Сосед, в тебе все сметено
отчаянно-чудным значеньем.
Ты счастлив до дьявола, но
слагается слово: плачевно.

Допрыгался, дорогой.
Наяривай вина и закусь.
Вчера, познакомясь с четой,
ты был им свидетелем в загсе.

Она влюблена, влюблена
и пахнет жасминною кожей.

Чужая невеста, жена,
но жить без нее ты не сможешь!

Ты выпил. Ты выйдешь на снег
повыветрить околесицу.
Окошки потянутся
вверх
по белым веревочным лестницам.

Закружится голова.
Так ясно под яблочко стало,
чему не подыщешь слова.
Слагается слово: начало.

1968

* * *

Жадным взором василиска
вижу: за бревном, остро,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!

Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.

1971

* * *

Лист летящий, лист спешащий
над походочкой моей —
воздух в быстрых отпечатках
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,

что желают? что толкуют?
Ах, лети,
лети,
лети!..

Вот нашла — в такой глуши,
в ясном воздухе души.

1969

СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытясь,
как продолжение соска.

С какою женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,
во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то»...

*

Отдай, тетивка сыромятная,
наитишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит темная вода.

Глубинная струя влеченья.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли четкая стрела.

1968

ЛИВЫ[1]

К. Фридрихсону

Островная красота.
Юбки с выгибом, как вилы.
Лики в пятнах от костра —
это ливы.

Ими вылакан бальзам?
Опрокинут стол у липы?
Хватит глупости базлать!
Это — ливы.

[1] *Ливы* — племена, населявшие в древности Латвию.

Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки.
Это? Ливы?

Гармоничное «и-и»
вместо тезы «или-или».
И шоссе. И соловьи.
Двое встали и ушли.
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок.
Лишь бы иволгины игры
осыпали на песок
сосен
сдвоенные
иглы!

И от хвойных этих дел,
точно буквы на галете,
отпечатается «л»
маленькое на коленке!

Эти буквы солоны,
А когда свистят с обрыва,
это вряд ли соловьи,
это — ливы.

1967

ДЕКАБРЬСКИЕ ПАСТБИЩА

М. Сарьяну

Все как надо — звездная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.

Ее брюхо кололось светом,
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —
короли, короли, короли.
Из икон, как из будок, лаяли —
кобели, кобели, кобели.

А она все ложилась чаще
на репьи и сухой помет
и обнюхивала сияющий
мессианский чужой живот.

Шли бараны черные следом.
Лишь серебряный все понимал —
передачу велосипеда
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,
передачу его крутя,
думал: «Сын не спас Человечий,
пусть спасет собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя.
Стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.

И от малой той шестеренки
начиналось удесятеренно
сумасшествие звезд и блох.
Ибо все, что живое, — Бог.

«Аполлоны», походы, страны,
ход истории и века,
ионические бараны,
иронические снега.

По снегам, отвечая чаяньям,
отмечаясь в шоферских чайных,
ирод Сидоров шел с мешком
с извиняющимся смешком.

1969

РАНО

В горы я подымаюсь рано.
Ястреб жестокий
парит со мной,
сверху отсвечивающий —
как жестяный,
снизу —
мягкий и теневой.
Женщина
в стрижечке светло-ореховой,
светлая ночью, темная днем,
с сизой подкладкою
плащ фиолетовый!..
Чересполосица в доме моем.

1968

* * *

Проснется он от темнотищи,
почувствует чужой уют
и голос ближний и смутивший:
«Послушай, как меня зовут?»

Тебя зовут — весна и случай,
измены бешеный жасмин,
твое внезапное: «Послушай...» —
и ненависть, когда ты с ним.

Тебя зовут — подача в аут,
любви кочевный баламут,
тебя в удачу забывают,
в минуты гибели зовут.

1969

СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевелины —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детств,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь раздельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

1967

ТЕНЬ ЗВУКА

ОСЕННЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучищ.
Время рев испытать.
Развяжи мне язык,
как осенние вязы
развязываешь
в листопад.

Развяжи мне язык — как снимают ботинок,
чтоб ранимую землю осязать босиком,
так гигантское небо
эпохи Батыя
сковородку Земли,
обжигаясь,
берет языком.

Освежи мне язык, современная Муза.
Водку из холодильника в рот наберя,
напоила щекотно,
морозно и узко!
Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,
оставляя заик,
как у девки отчаянной,
были трубы мои перевязаны.
Разреши меня словом. Развяжи мне язык.

И никто не знавал, как в душевной изжоге
обдирался я в клочья —
вам виделся бзик?

Думал — вдруг прозревают от шока!
Развяжи мне язык.

Время рева зверей. Время линьки архаров.
Архаическим ревом
взрывая кадык,
не латинское «Август», а древнее «Зарев»,
озари мне язык.

Зарев
заваленных базаров, грузовиков,
зарев разрумяненных от плиты хозяек,
зарев,
когда чащи тяжелы и пузаты,
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,
в предвкушении перемен,
когда звери воют в сладкой тревоге,
зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска
и от костров картофельной ботвы до костров Батыя,
зарев,
когда в левом верхнем углу
жемчужно-витиеватой березы
замерла белка,
алая, как заглавная буквица
Ипатьевской летописи.
Ах, Зарев,
дай мне откусить твоего запева!

Заревает история.
Зарев тура, по сердцу хвати.
И в слезах, обернувшись над трупом Сахары
львы ревут,
как шесты микрофонов,
воздев вертикально
с пампушкой хвосты —
Зарев!

Мы лесам соплеменны,
в нас поют перемены.
Что-то в нас назревает.
Человек заревает.

Паутинки летят. Так линяет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обресть — надо крупно
расстаться,
зарев,
зарев — значит «прощай!», зарев — значит
«да здравствует
завтра!».

Как горящая пакля, на сучках клочья волчьи и пёсьи.
Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом,
как боярская шуба
каменными мехами. —
Развяжи мне язык.

Ах, мое ремесло — самобытное? Нет,
самопытное!
Оббиваясь о стены, во сне, наяву,
ты пытай меня, Время, пока тебе слово
не выдам.
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых
предчувствий,
революций и рас.
Зарев первой печурки,
красным бликом змеясь...
Запах снега
Пречистый,
изменяющий нас.

*

Человечьи кричит на шоссе
белка, крашенная, как в Вятке, —
алюминиевая уже,
только алые морда и лапки.

1967

НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать,
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказанье?

Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...
1967

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноет — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —

мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха —
быть органом стыда.

1967

МОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Я в географии слабак,
но, как на заповедь,
ориентируюсь на знак —
Востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,
он одному сейчас — Восток,
другому — Запад.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.
Тебе — пришла, ему — ушла.
Востоко-запад.

Опять Букашкину везет.
Растет идейно.
Не понимает, что тот взлет —
его паденье.

А ты художник, сам себе
Востоко-запад.
Крути орбиты в серебре,
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья, взлеты —
нерукотворное твори.
Жми обороты.

Страшись, художник, подлипал
и страхов ложных,
работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Солнце за морскую линию
удаляется, дурачась,
своей нижней половиною
вылезая в Гондурасах.

1967

* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами прыснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка — я тебя люблю!
Зверюга — я тебя люблю!
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесет и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивесельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдет деревня на плаву.

Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И, как ремень с латунной пряжкой
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю.

Над пнем склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несешь мне гибель, почтальонша?
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И, как цена боев и риска,
чек, ярлычочек на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967

РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресение
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

* * *

Графоманы Москвы,
меня судите строго,
но крадете мои
несуразные строки.

Вы, конечно, чисты
от оплошностей ложных.
Ваши ядра пусты,
точно кольца у ножниц.

Засвищу с высоты
из Владимирской пустоши —
бесполезные рты
разевайте и слушайте.

1967

* * *

Р. Щедрину

В воротничке я —
как рассыльный
в кругу кривляк.
Но по ночам я — пес России
о двух крылах.

С обрывком галстука на вые,
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщить.

В мурло уткнешься меховое,
в репьях, в шипах...
И слезы общею звездою
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в неименуемо немую
минуту ту.

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы
слизывал
России,
чей светел лик.

1967

МОРОЗНЫЙ ИППОДРОМ

Табуном рванулись трибуны к стартам.
В центре — лошади,
вкопанные в наст.
Ты думаешь,
мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — ё-моё...
Умеет крупно конюшню вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.
Людям кажется, что им — они.
Природа и рощи на нас поставили.
А мы — гони!

Колдуют лошади, они шепочут.
К столбу Ханурик примерз цепочкой.
Все-таки 43°...
Птица замерзла в воздухе, как елочная
игрушка.
Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине
неба, как шторка
у испорченного фотоаппарата.
А у нас в Переделкине, в Доме творчества,
были открыты 16 форточек.
Около каждой стоял круглый плотный комок
комнатного воздуха.
Он состоял из сонного дыхания, перегара,
тяжелых идей.
Некоторые закнопливают фортки марлей,
чтобы идеи не вылетали из комнаты,
как мухи.
У тех воздух свисал тугой и плотный,
как творог в тряпочке...

Взирают лошади в городах:
как рощи в яблоках о четырех стволах...

Свистят Ханурику.
Но кто свистит?
Свисток считает, что он свистит.
Сержант считает, что он свистит.
Закон считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошиной,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дунька, Судьба, конь Блед.

Хохочут лошади.
Их стоны жутки:
«Давай, очкарик! Нажми! Андрей!»
Их головы покачиваются,
как на парашютиках,
на паре, выброшенном из ноздрей.

Понятно, мгновенно замерзшем.
Все-таки 45°...
У ворот ипподрома лежал Ханурик.
Он лежал навзничь. Слева — еще пять.
Над его круглым ртом,
короткая, как вертикальный штопор,
открытый из перочинного ножа, стояла
замерзшая Душа.
Она была похожа на поставленную торчком
винтообразную сосульку.
Видно, испарялась по спирали
да так и замерзла.
И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или
веточка,
внутри ее вмерзло доказательство добрых
дел,
взятое с собой. Это был обрывок заявления
на соседа за невыключенный радиоприемник.

Над соседними тоже стояли Души, как пустые
бутылки.
Между тел бродил Ангел.
Он был одет в сатиновый халат
подметальщика.

Он собирал Души, как порожние бутылки.
Внимательно
проводил пальцем — нет ли зазубрин.
Бракованные скорбно откидывал через плечо.
Когда он отходил, на снегу оставались
отпечатки следов с подковками...

...А лошадь Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,
как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..

1967

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при всегда.

Прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда...

1967

ЯЗЫКИ

«Кто вызывал меня?
Аз язык...»

...Ах, это было, как в сочельник! В полумраке собора алым языком извивался кардинал. Пред ним, как онемевший хор, тремя рядами разинутых ртов замерла паства, ожидая просвирок.
«Мы — языки...»

Наконец-то я узрел их.
Из разъятых зубов, как никелированные застежки на «молниях», из-под напудренных юбочек усов, изнывая, вываливались алые лизаки.
У, сонное зевало, с белой просвиркой, белевшей, как запонка на замшевой подушечке.
У, лебезенок школьника, словно промокашка с лиловой кляксой и наоборотным отпечатком цифр.
У, лизоблуды...
Над едалом сластены, из которого, как из кита, били нетерпеливые фонтанчики, порхал куплет:

«Продавщица, точно Ева, —
ящик яблочек — налево!»

Два оратора перед дискуссией смазывали свои длинные, как лыжи с желобками посередине, мазью для скольжения, у бюрократа он был проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке.
У, языки клеветников, как перцы, фаршированные пакостями, они язвивались и яздваивались на конце, как черные фраки или мокрицы.

У одного язвило набухло, словно лиловая картофелина в сырой темноте подземелья. Белыми стрелами из него произрастали сплетни. Ядило этот был короче других языков. Его, видно,

ухватили однажды за клевету, но он отбросил кончик, как ящерица отбрасывает хвост. Отрос снова!

Мимо черт нес в ад двух критиков, взяв их, как зайца за уши, за их ядовитые язоилы.

Поистине, не на трех китах, а на трех языках, как чугунный горшок на костре, закипает мир.

...И нашла тьма-тьмущая языков, и смешались речи несметные, и рухнул Вавилон...

По тротуарам под 35 градусов летели замерзшие фигуры, вцепившись зубами в упругие облачка пара изо рта, будто в воздушные шары.

У некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны мысли и афоризмы.

А у постового пар был статичен и имел форму плотной белой гусиной ноги. Будто он держал ее во рту за косточку.

Языки прятались за зубами — чтобы не отморозиться.

1967

УЖЕ ПОДСНЕЖНИКИ

К полудню
или же поздней еще,
ни в коем случае
не ранее,
набрякнут под землей подснежники.
Их выбирают
с замираньем.

Их собирают
непоспевшими
в нагорной рощице дубовой,
на пальцы дуя
покрасневшие,
на солнцепеке,
где сильней еще
снег пахнет
молодой любовью.

Вытягивайте
потихонечку
бутоны из стручка
опасливо —
как авторучки из чехольчиков
с стержнями белыми
для пасты.

Они заправлены
туманом,
слезами
или чем-то высшим,
что мы в себе
не понимаем,
не прочитаем,
но не спишем.

Но где-то вы уже записаны,
и что-то послучалось
с вами
невидимо,
но несмываемо.
И вы от этого зависимы.

Уже не вы,
а вас собрали
лесные пальчики в оправе.
Такая тяга потаенная
в вас,
новорожденные змейки,
с порочно-детскою,
лимонною
усмешкой!

Потом вы их на шапку
сложите, —
кемарьте,
замерзнувшие, как ложечки,
серебряные
и с эмалью.

Когда же через час
вы вспомните:
«А где же?»
В лицо вам ткнутся
пуще прежнего
распущенные
и помешанные
уже подснежники!

1968

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Г. Джагарову

«По деревне янычары детей отбирают...»
Болгарская народная песня

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальца.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар,
не свои ль сжигаешь алтари,
где чужие — можешь различать,
но не понимаешь, где свои.

Безобразя рощи и ручьи,
человеком сделавши на миг,
кто меня, Георгий, отлучил
от древесных родичей моих?

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.
1968

БОЙ ПЕТУХОВ

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!)

«Ни фига себе Икар!»

хр-ррр!

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчаться
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся, —
на небеса!
Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,

как красные
аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)

Но по ночам их к мщенью требует
с асфальтов, жилисто-жива,
как петушиный орден
с гребнем,
оторванная голова.

1968

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЛЯЖИ

Людмила,
в сочельник,
Людмила, Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у взморья.
Оно нелюдимо.
В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето.
Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас «эпатируем счастьем», мудрилы!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмилы.
Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни
звенит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездою во лбу прибегала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмилая-2, я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты,
подушку обмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...
Как будто тебя
от меня ампутировали.

1968

* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и темной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.

Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка бежит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру по приметам —
следы отольют серебром.

1971

ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово Бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970

* * *

На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек
налита стынущим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа ее бежит отчаянно.
1970

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен
на стенных часах над рынком
баба вывела: «Ремонт»,
снявши стрелки для починки.

Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Что-то там довинчивают.

«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого
сражения.
Полагаю также, что наступил момент
произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда,
соответственно, количество часов в сутках
увеличится, возрастет производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем
петь...»

Время остановилось.
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты
подзатянулось?

Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся
обеденный перерыв,
которые едят в счет 1985 года,
вам говорю я:
«Вы временны».
Конторские и конвейерные,
чья жизнь — изнурительный
производственный ритм,
вам говорю я:
«Временно это».
Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша
со скоростью
270 км/никогда,
вам говорю я:
«Увы, и вы временны...»
«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже
продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино
«пусто-один» —
«до-до-до»...

Прекрасное мгновенье,
не слишком ли ты подзатянулось?

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все — второисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожмется?
Если человечное —
значит приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтщиков
вышвырнет в ремонт!

1967

* * *

Зое

Живу в сторожке одинокой,
один-один на всем свету.
Еще был кот членистоногий,
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко
башку, как в черную трубу,
вещал, достигнувши желудка,
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом уже.
Знай, штамповала деток в свет,
углами загибала ушки
им, как укладчица конфет.

1969

* * *

Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдет в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины
на ванкуверской мостовой

перевернутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят как летучие мыши
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи.
Вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как черная скрипка —
крикнет гамлетовский рукав.
1971

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,

за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970

НЕ ОТРЕКУСЬ

* * *

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

1975

УРОКИ ПОЛЬСКОГО

«Урода» — значит красота.
Как просто!..

Пускай осталась от костра
короста,
пускай ваш друг погас, обрюзг,
глаза как ставни,
но чем потрепанней бурдюк —
тем пить хрустальней!

А ты вульгарна, как весна,
ресниц огарочки потухли,
вишневые, как ветчина,
на белом каучуке туфли.

Но сколько синей тишины
в тебе под вечер,
как нематериальны сны,
как подвенечны,

и так серебряны глаза
на фиолетовом —
как сохраняется, дрожа,
в футляре флейта!

А у старух лиловый взгляд
над огородами.
«У, дрянь, — старухи говорят, —
урода!»

1961

* * *

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!

И, оттаивая ладошки,
поэтессы бегут в лотошницы!

Ну а ты?..
Уж который месяц —
в звезды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.

И опять и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышленыш,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся, стоишь!..

Кто ты? Кто?! — Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна — но где ты там? —
припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой в толщах снега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

1958

* * *

Бегите — в себя, на Гаити, в костелы,
в клозеты, в Египты —
бегите!

Нас темные, как Батыи,
машины поработили.

В судах их клевреты наглые,
из рюмок дуя бензин,
вычисляют: кто это в Англии
вел бунт против машин?
Бежим!..

А в ночь, поборовши робость,
создателю своему
кибернетический робот:

«Отдай, — говорит, — жену!
Имею слабость к брюнеткам, — говорит. —
Люблю
на тридцати оборотах. Лучше по-хорошему
уступите!..»
О хищные вещи века!
На душу наложено вето.
Мы в горы уходим и в бороды,
ныряем голыми в воду,

но реки мелеют, либо
в морях умирают рыбы...

...Душа моя, мой звереныш,
меж городских кулис
щенком с обрывком веревки
ты носишься и скулишь!

А время свистит красиво
над огненным Теннеси,
загадочное, как сирин
с дюралевыми шасси.

1961

СТРИПТИЗ

В ревю
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?..
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает,
шаль срывает,
мишуру,
как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».

Страшен танец. В баре лысины и свист,
как пиявки,
глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
пневматическим исходит молотком!
Тот, как клоп, —
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб,
марсианское сиянье на мостах,
проклинаю,
обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» — спрошу, как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнет.

«Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас акцент!
Закажите-ка мартини и абсент».
1961

ЗАБАСТОВКА СТРИПТИЗА

Стриптиз бастует! Стриптиз бастует!
Над мостовыми канкан лютует.

Грядут бастующие — в тулупах, джинсах.
«Черта в ступе!
Не обнажимся!»

Эксплуататоров теснят, отбрехиваясь.
Что там блеснуло?
Держи штрейкбрехершу!

Под паранджою чинарь запаливают,
а та на рожу чулок напяливает.

Ку-ку, трудящиеся эстрады!
Вот ветеранка в облезлом страусе,
едва за тридцать — в тираж пора:
«Ура, сестрички,
качнем права!

Соцстрахование, процент с оваций
и пенсий ранних — как в авиации...»

«А производственные простуды?»
Стриптиз бастует.
«А факты творческого зажима?
Не обнажимся!»

Полчеловечества вопит рыдания:
«Не обнажимся.
Мы — солидарные!»

Полы зашивши
(«Не обнажимся!»),
в пальто к супругу
жена ложится.

Лежит, стервоза,
и издевается:
«Мол, кошки тоже
не раздеваются...»

А оперируемая санитару:
«Сквозь платье режьте — я солидарна!»
«Мы не позируем», —
вопят модели.

«Пойдем позырим,
на Венеру надели

синенький халатик в горошек,
с коротенькими рукавами!..»
Мир юркнул в раковину.
Бабочки, сложив крылышки, бешено
заматывались в куколки.
Церковный догматик заклеивал тряпочками
нагие чресла Сикстинской капеллы,
штопором он пытался
вытащить пуп из микеланджеловского
Адама.
Первому человеку пуп не положен!

Весна бастует. Бастуют завязи.
Спустился четкий железный
занавес.
Бастует там истина.
Нагая издавна,
она не издана, а если издана,
то в ста обложках под фразой фиговой —
попробуй выковырь!

Земля покрыта асфальтом города.
Мир хочет голого,
голого,
голого.
У мира дьявольский аппетит.
Стриптиз бастует. Он победит!

1966

ЛИРИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Несутся энтузиасты
на горе мальтузианству.
Человечество
увеличивается
в прогрессии
лирической!

(А Сигулда вся в сирени,
как в зеркала уроненная,

зеленая на серебряном,
серебряная на зеленом.)

В орешнях, на лодках, на склонах,
смущающаяся, грешная,
выводит свои законы
лирическая прогрессия!

Приветик, Трофим Денисычи
и мудрые Энгельгардты.
2 = 1 > 3 000 000 000!

Рушатся Римы, Греции.
Для пигалиц обнаглевших
профессора, как лешие,
вызубривают прогрессию.

Ты спросишь: «А правы ль данные,
что сердце в момент свидания
сдвигает 4 вагона?»
Законно! Законно! Законно!

Танцуй, моя академик!
Хохочет до понедельника
на физике погоревшая
лирическая прогрессия!

Грозит мировым реваншем
в сиренях повызревавшая —
кого по щеке огревшая? —
лирическая агрессия!

1963

* * *

С ясеней, вне спасенья,
вкось семена летят —
клюшечками
хоккейными
валятся на асфальт!

Что означает тяга,
высвободясь, пропасть?
Непоправимость шага
и означает страсть.

Уточка подсадная!
Бабочкой на свечу,
хоть пропаду — я знаю, —
но все равно лечу!
1970

* * *

У речки-игруньи
у горной глазури
березы
в Ингури
березы
в Ингури

как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
березы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
до ночи
лежу

сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой

стоят
прожекторами
салюты
над Москвой
1958

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка
к колонке
сбегает напиться

и талия блещет
увертливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая челка
с водою лопочет

две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?
1958

ТУЛЯ

Кругом тута и туя.
А что такое — Туля?

То ли турчанка —
тонкая талия?

То ли речонка —
горная,
талая?

То ли свистулька?
То ли козуля?
Туля!

Я ехал по Грузии,
грушевой, вешней,
среди водопадов
и белых черешней.

Чинары, чонгури,
цветущие персики
о маленькой Туле
свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались.
И все, что успели,
столкнулись — расстались
на Руставели...

Но свищут пичуги
в московском июле:
«Туит-
ту-ту-
туля!
Туля! Туля!»

1958

ЕЛКА

За окном кариатиды,
а в квартирах — каблуки...
Елок
крылья
реактивные
прошибают потолки!

Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?!
О, девчонка с мандолиной!
Одуряя и журя,
полыхает мандарином
рыжей челки кожура!
Расшалилась, точно школьница,
иголочки грызет...
Что хочется,
чем колется
ей следующий год?
Века, бокалы, луны...
«Туши! Туши!»
Любовь всегда —
кануны.
В ней —
Новый год
души.
А елочное буйство,
как женщина впотьмах —
вся в будущем,
как в бусах,
и иглы на губах!

1959

* * *

Отзовись!
Что с тобою?
Примчись,
припади,
расскажи!
Атавизм?..
Или может быть — рак души?

К лучшей женщине мира,
к самой юной беда добралась.
А была она милая,
с фаюмским сиянием глаз.

Мотоциклы вела,
в них вонзалась и гнулась она,
как стрела
в разъяренном,
ревущем боку кабана!

Начинается с дач,
с лимузинов,
с небритых мужей,
начинается сдача
самых чистых ее рубежей.

Раздавило машиной,
под глазами, как нимбы, мешки.
Мужа лапки мышиные,
как клеенка, липки.

Осень сад осыпает
на толченый кирпич.
Человек засыпает и ночами — кричит!
Что-то давит ей плечики...
И всю ночь — не помочь! —
Дача
пляшет
на пленнице,
как татарский помост!

1960

РЫБАК БОКОВ ВАРИТ СУП

Богу — Богово,
а Бокову —
Боково...

Он хохочет оглушительно.
На снегу горят ножи.
И как два огнетушителя
наши красные носы!

В полушубке, как бульдозер,
Боков в бурную струю

валит дьявольскими дозами
рыбин, судьбы, чешую.

Церкви, луковки, картошка,
ух — в уху!
Головешками галоши
расплясались на снегу.

Пляшет чан по-половецки.
Солнце красной половешкой.
Боков бешен, как шаман.
И бормочет: «Ах, шарман...»

(Он кого-то укокошил.
Говорят, он давит кошек.
Ловит женщин до утра,
нижет их на вертела.)

Пустяки — все сплетни, байки,
когда, взявши балалайку,
синеок, как образа,
заглядится в облака.
и частушка улетая
точно тучка
золотая
унесет меня как дым
к алым туфелькам твоим
как консерваторской палочкой
ты грозишься резвым пальчиком
«Милый — скажешь —
прилечу...»
Чу!..

1961

ОХОТНИК

Я иду по следу рыси,
а она в ветвях — за мной.
Хищное вниманье выси
ощущается спиной.

Шли, шли, шли, шли,
водит, водит день-деньской,
лишь, лишь, лишь, лишь
я за ней, она за мной.

Но стволы мои хитры,
рыси — кры...
1968

* * *

Б. А.

Дали девочке искру,
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска,
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно — печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеется искоса.
1958

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.

Ходит он — синеокий,
гусельки на весу,
очи его — как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветреней, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество — это старт.
1957

* * *

Ты с теткой живешь. Она учит канцоны,
чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..

Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто пичугу за пазухой.
И пасекой пахнет.
А в Суздале — Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, воронье.

Ты в щеки мне шепчешь про детство твое.
То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих...

В России живу — меж снегов и святых!

1958

ЛУННАЯ НЕРЛЬ

Есть церкви — вроде тыкв и палиц.
А Нерль прозрачна без прикрас.
И испаряется, как парус,
и вся сияет — испарясь.

Я сходу скидываю лыжи,
всхожу из мрака на бугор.
Как в телевизорную линзу,
гляжу в сияющий собор.

Меня пронизывают волны
высокой, голубой воды.
Твои, Россия, сны и войны
и дикой девочки черты.

Кто жег тебя в татарских станах?
Чьих стай маячили крыла?
Ты рано женщиною стала
и свет нелегкий обрела.

Тебе, одной тебе подсудны
мои поступки и труды.
Я весь как есть твоя посуда
высокой, голубой воды.

1958

ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
    двое?!
Нет
    двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опек,
и так весною поросли
пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959

СЕНТЯБРЬ

Загривок сохатый, как карагач —
невесткин хахаль,
снохач, снохач!..

Он шубу справил ей в ту весну.
Он сына сплавил на Колыму.
Он ночью стучит черпаком по бадье.
И лампами
капли
висят в бороде!

(Огромная осень, стара и юна,
в неистово-синем сиянье окна.)

А утром он в чайной подсядет ко мне,
дыша перегаром,
как листья в окне,
и скажет мне:
«Что ж я? Художник, утешь.
Мне страшно, художник!.. Я сыну — отец...»

И слезы стоят, как стакан первача,
в неистово синих глазах снохача.

1958

ЛЕШЕНЬКА

Здесь Чайльд Гарольды огородные
на страх воронам и ворам.
Здесь вместо радио — юродивый
врет по утрам и вечерам.

Пока мы бегали в столовку,
туманный, как палеолит,
юродивый с татуировкой
чуть не упер теодолит.

Он весь дрожал от изумления,
познав чужое божество.
Он трепетал,
как заземление,
от бьющей молнии в него!

Кругом бульдозеры былинные.
Но будущее чуял он,
дурак, болотная былиночка,
антенка сдвинутых времен.

1958

* * *

В мире друзей, в мире транспорта долгого,
что ты там делаешь в мире, где дождь?
Делишься с кем мандариновыми дольками?
Что за экзамены снова сдаешь?

Ой, вокалисточка, снова за шалости?
Или, озябшая, бросив постель,
бродишь босая и взять не решаешься
трубку тяжелую, точно гантель...

1958

БАЛЛАДА 41-ГО ГОДА

Партизанам
Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замерзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, черный ящик,
лежал на брюхе и гудел.
Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.

А пальцы вспухшие алели.
На левой — два, на правой — пять...
Он
опускался
на колени,
чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Он с криком эти пальцы ло́жил,
их красоту, их божество...
И было величайшей ложью
все, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревет рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И, как коронного пассажа,
я жду удара топора.

1958

ОСЕННИЙ ДИЛИЖАН

Как золотят купола
в строительных легких лесах —
оранжевая гора
стоит в пустынных лесах.

Уже золотить пора бы.
Да запили мастера!
Горит грунтовкой оранжевой
окрашенная гора.

1969

ПЕСНЯ

«Как погибла ты, матерь Мария?» —
«Мимо нас осужденных вели.
Я еврейку собой заменила.
И меня в душегубке сожгли».

Называли ее — мать Мария.
Посреди Елисейских Полей
васильковые очи царили
укоризной своей!

Белоснежная поэтесса
вся в потупленной синеве
не испытывала пиетета
ни к политике, ни к войне.

«Вы куда, молодая монашка?
Что за сверток вы бросили в пруд?
Почему офицеры в фуражках
вас к жестокой машине ведут?» —

«Так велит моя тихая вера.
До свидания. Я не приду.
Я гестаповского офицера
застрелила у всех на виду.

За российские наши печали,
за разор Елисейских Полей
те же пальцы гашетку нажали,
что ночами крестили детей.

И за это меня, мать Марию,
русый пленник, в бреду может быть,
назовет меня „Матерь Россия!“
и попросит водой напоить».

1968

* * *

Я снова в детстве погостил,
где разоренный монастырь
стоит, как вскинутый костыль.

Мы знали, как живет змея
и пионервожатая, —
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
носами шмыг — и в пруд бултых!..

И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.

1979

МОНОЛОГ АКТЕРА

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодованье дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб и то не у всех,
когда земле твоей горестно,
позорно иметь успех.

Вы счастливы ль, тридцатилетняя,
в четвертом ряду скорбя?
Все беды, как артиллерию,
я вызову на себя.

Провала прошу, аварии.
Будьте ко мне добры.
И пусть со мною
провалятся
все беды в тартарары.

1965

ВЗГЛЯД

СНАЧАЛА

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

Двенадцать часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.

Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

1973

* * *

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампады!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылазил из спален.
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спою, не виня:
«Пусть я удобренье для Божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и он.

1971

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленопреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русый журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»
Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшой...)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.

Спи, русской песни крепостной, —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закрыть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!

1971

СОН

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,

и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.

Мне не было пути назад.
Вошел я злобно и неробко —
вместо того чтобы нажать,
я вырвал с проводами кнопку!

1983

* * *

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.

У лугов изумлявших —
запах автомобилей...
Ты молилась, Земля наша?
Как тебя мы любили!

1972

ВОДНАЯ ЛЫЖНИЦА

В трос вросла, не сняв очки бутыльи, —
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила — боже! — сострогала,
наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница — профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обмирающею до кишок, —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное — ногами упираться,
чтоб не вылетела на ходу.

«Укради, как раньше на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надежен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют десны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,

с самолетным разве что сравнимый,
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный — Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

1971

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973

АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

«Дверь отворите гостье с дороги!»
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
белые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
темные ночи, белые брюки.

Белые брюки, ночные ворюги,
молния слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слезы. Желтые дали.
Бедные клеши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в черной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?

1971

* * *

Погадай, возьми меня за руку,
а взяла — не надо гадать...
Все равно — престол или каторга —
ты одна моя благодать!

Бог — с тобой, ты — созданье Бога.
И, пускай он давно не со мной,
нарисована мне дорога
по ладони твоей золотой.

Ты одна на роду написана.
Но читать подождем.
А отклонится линия жизни —
я ее подправлю ножом.
1971

* * *

Что ты ищешь, поэт, в кочевье?
Как по свету ни колеси,
но итоги всегда плачевны,
даже если они хороши.

Все в ажуре — дела и личное.
И удача с тобой всегда.
Тебе в кухне готовит яичницу
золотая кинозвезда.

Но как выйдешь за коновязи,
все высвистывает опять,
что еще до тебя не назвали
и тебе уже не назвать.
1971

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. Завещание

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!
Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!
Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально,
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973–1974

ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, не ждавши «скорой помощи»,
с силой в легкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жрица мясоедная,
рот в рот,
не сестрою, а женою милосердия
душу всю ему до донышка дает —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыханья создает.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотою.
А везти его до Кировских ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
Синий взгляд как пробка вылетит из-под
век, и легкие вздохнут, как шар летательный.
Преодолевается летальный
исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
Пусть в глазах твоих
мной вдутый небосвод.
Пусть отдашь мое дыхание кому-то
рот — в рот...»
1970

ОДА ДУБУ

Свитязианские восходы.
Поблескивает изреченье:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись, лиственно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирное значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские березы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, желтая как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,

исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу
великую.

Как Рембрандты, живут по описи
35 волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы — двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый,
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

1971

* * *

Я — двоюродная жена.
У тебя — жена родная!
Я сейчас тебе нужна.
Я тебя не осуждаю.

У тебя и сын, и сад.
Ты, обняв меня за шею,
поглядишь на циферблат —
даже крикнуть не посмею.

Поезжай, ради Христа,
где вы снятые в обнимку.
Двоюродная сестра,
застели ему простынку!

Я от жалости забьюсь.
Я куплю билет на поезд.
В фотографию вопьюсь.
И запрячу бритву в пояс.
1971

ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще заоконной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее.
1971

ДВЕ ПЕСНИ

I. ОН

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец

черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

II. ОНА

Волосы до полу, черная масть, —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним
на всю ночь,
дочь».
«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать».
«Я — его первая женщина, вернулся, до ласки
охоч,
дочь».
«Он — мой первый мужчина, вчера я боялась
сказать,
мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..»
. . . . . .
«Это о смерти его телеграмма,
мама!..»

1971

ХОЗЯЙКИ

В этом доме ремонт завели.
На вошедшего глянут с дивана
две войны, две сестры по любви,
два его сумасшедших романа.

Та в смятенье подастся к тебе.
А другая глядит не мигая —
запрокинутая на стене
ее малая тень золотая.

У нее молодые — как смоль.
У нее до колен — золотые.
Вся до пяток — презренье и боль.
Вся любовь от ступней до затылка.

Что-то будет? Гадай не гадай...
И опять ты влюблен и повинен.
Перед ними стоит негодяй.
Мы его в этой позе покинем.

Потому что ремонт завели,
перекладываются паркеты.
И сейчас заметут маляры
два квадратных следа от портрета.

1971

СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Л. Вегину

Огни Медыни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забился в угол,

не спит с Уссури.
О чем он думает
под шепот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться,
не спать родителям,
не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плакав, —
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.

1971

КРОМКА

Над пашней сумерки нерезки,
и солнце, уходя за лес,
как бы серебряною рельсой
зажжет у пахоты обрез.

Всего минуту, как, ужаля,
продлится тайная краса.
Но каждый вечер приезжаю
глядеть, как гаснет полоса.

Моя любовь передвечерняя,
прощальная моя любовь,
полоска света золотая
под затворенными дверьми.

1970

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданнее брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой террaской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой, —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.

Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972

* * *

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972

* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский ампир,
твоя дубленочка с опушкой.

1972

ПЕСНЯ ШУТА

Оставьте меня одного,
оставьте,
люблю это чудо в асфальте,
да не до него!

Я так и не побыл собой,
я выполню через секунду
людскую мою синекуру.
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного;
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек,
но горше всего,

что так доживешь до седин
под пристальным сплетневым оком
то «вражьих», то «дружеских» блоков...
Как раньше сказали бы — с Богом
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.

Оставьте в чащобе меня.
Они не про вас, эти слезы,
душа наревется одна —
до дна! —

где кафельная береза,
положенная у пня,
омыта сияньем белесым.
Гляди ж — отыскалась родня!

Я выйду, ослепший, как узник,
и выдам под хохот и вой:
«Душа — совмещенный санузел,
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства,
алмазная ипостась,
омылась душа, опросталась,
чего нахваталась от вас».

1972

* * *

Ты поставила лучшие годы,
я — талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
развели. Ты — лихой дуэлянт!

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу как актер,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы — другой разговор.

Из-за Той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

1972

НА ОЗЕРЕ

Прибегала в мой быт холостой,
задувала свечу, как служанка.
Было бешено хорошо
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра-
вствует бодрая температура!»
И на высохших после дождя
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю,
чтобы бритва тебе не жужжала.
Шнур протянется
в спальню твою.
Дело близилось к сентябрю.
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба,
что любовь — это самодержавье.

Моя шумная жизнь без тебя
не имеет уже содержанья.

Ощущение это прошло,
прошуршавши по саду ужами...
Несказаемо хорошо!
А задуматься — было ужасно.

1973

* * *

В. Шкловскому

— Мама, кто там вверху, голенастенький —
руки в стороны — и парит?
— Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

1972

* * *

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

1975

ФИАЛКИ

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).

У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги имеют слабости.
Славный хочет бесславности.
Бесславный хлопочет: «Ой бы,
мне бы такое хобби!»

Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.

Боги имеют баки —
висят на башке пускай,
как ручка под верхним баком,
воду чтобы спускать.
Не дергайте их, однако.

Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?

У Бога ответов много,
но главный: «Идите к Богу!»

...Боги имеют хобби —
уставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!

А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отшучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!» —
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
подглядывать
в дырочку от гвоздя».

1972

* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972

* * *

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя, —
ведь не только же до звезды, —
посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

1972

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашеная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру —
выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночною оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люд сматерится,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

1972

СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!
1972

ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.
1972

* * *

На суде, в раю или в аду,
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнет на черный шпингалет.
1972

* * *

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий Завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осужден мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась
с белым голосом в темное время.
Даже если Земля наша — грязь,
рождество твое — ей искупленье.

Был мой стих, как фундамент, тяжел,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жен
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достигнет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибясь в этой жизни дотла,
улыбнусь: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972

* * *

Айда, пушкинианочка,
по годы, как по ягоды!
На голос, на приманочку,
они пойдут подглядывать,

из-под листочков машучи.
Бродяжка и божок,
продуешь, как рюмашку,
серебряный рожок.

И выглянут парижи
малинкой черепичной —
туманные, капризные
головки красных спичек!

Как ядовито рядом
припрятаны кармины.
До черта волчьих ягод,
какими нас кормили.

Все, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что не смертельны!

Поляны заминированы,
и все как понарошке.
До черта земляники —
но хочется морошки!

1965

СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живешь ты в художнической мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И что-то расскажешь. А глаз твой агатист.
А гостья почувствовала, примолкла.
И долго еще твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — мое небо, и не понимаю, как с гостьей тебя я мешаю.
Дай Бог тебе выжить, сестренка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.
1972

В НЕПОГОДУ

З. Б.

В дождь как из Ветхого Завета
мы с удивительным детиной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразье
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!

Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дома близлежащего
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отшучивался, балагуря.
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо,
дороги наши разминулись.
1972

СКУКА

Скука — это пост души,
когда жизненные соки
помышляют о высоком.
Искушеньем не греши.

Скука — это пост души,
это одинокий ужин,
скучны вражьи кутежи,
и товарищ вдвое скучен.

Врет искусство, мысль скудна.
Скучно рифмочек настырных.
И любимая скучна,
словно гладь по-монастырски.

Скука — кладбище души,
ни печали, ни восторга,
все трефовые тузы
распускаются в шестерки.

Скукотища, скукота...
Скука создавала Кука,

край любезнейший когда
опротивеет, как сука!

Пост великий на душе.
Скучно зрителей кишевших.
Все духовное уже
отдыхает, как кишечник.

Ах, какой ты был гурман!
Боль примешивал, как соус,
в очарованный роман,
аж посасывала совесть...

Хохмой вывернуть тоску?
Может, кто откусит ухо?
Ку-ку!
Скука.

Помесь скуки мировой
с нашей скукой полосатой.
Плюнешь в зеркало — плевок
не достигнет адресата.

Скучно через полприжка
потолок достать рукою.
Скучно, свиснув с потолка,
не достать паркет ногою.

1972

ЦВЕТНАЯ ПЕСЕНКА

Сто радуг канареечных,
смешайтесь в белый цвет,
как страны и наречья
смешались в Белый Свет.

Так белая бумага
таит в себе цвета,

Ван Гоги бумерангом
сигают из листа!

Да здравствует же радуга
во имя белизны!
За белоснежность ратуя,
зеленого плесни!

Безумствуйте, влюбленные,
по зелени аллей —
чем зеленей зеленое,
тем белое белей.

Жми, заяц, наворачивай
от рыжих кобелей.
Чем яростней оранжевый,
тем белое белей.

Мужайся, оклеветанный,
овечкою не блей —
чернила фиолетовей,
но белое белей!

Художник, будь спектральней.
Душой не индевей.
Чем индивидуальней,
тем ты общественней.

1972

ПЕСЕНКА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

Мы пришли на именины
поэмимы, поэмимы
(мамы — рифмы, папы — мимы,
получались поэмимы).

Было б грустно,
не пойми мы,

в чем искусство
поэмимы.

Снимем гримы,
срежем маски,
средства-мини
сердца-макси.

Подними меня, пойми меня,
но свободно, без нажима.
Наше имя — наше имя —
поэмима, поэмима.

Мы живем, меняя позы,
спины гнем, в мечтах парим мы,
но поймем довольно поздно,
что свершаем поэмимы.

Пианино, пианино
интересно лишь для слуха.
Поэмима, поэмима —
связь телесного и духа.

Сбросьте скользкие сапожки.
Ремесло на вид невинно.
Ошибешься — расшибешься.
Беспощадна поэмима.

1972

ПАСАТА

Купаться в шторм запрещено.
Заплывшему — не возвратиться.
Волны накатное бревно
расплющит бедного артиста!

Но среди бешеных валов
есть тихая волна — пасата,

как среди грома каблуков
стопа неслышная босая.

Тебя от берега влечет
не удалая бесшабашность,
а ужасающий расчет —
в открытом море безопасней.

Артист, над мировой волной
ты носишься от жизни к смерти,
как ограниченный дугой
латунный сгорбленный рейсфедер!

Но слышит зоркая спина
среди безвыходного сальто,
как зарождается волна
с протяжным именем — пасата.

«Пасата,
возвращающая
волна,
пасата,
запретны мои заплывы,
но хлынула тишина
возврата,
я обожаю воду —
но что она без земли?
Пустая!
Я обожаю свободу —
но что она без любви,
пасата!
Неси меня, пока носишь,
оставишь на берегу —
будь свята!
Я встану
и, пошатываясь,
тебя поблагодарю,
но ты растворишься в море,
не поглядев,
пасата...»

1972

* * *

Признаю искусство
и «Полет валькирий»,
но люблю кукушку
и Ростов Великий.

Жду за кинофабрикой
еле-еле-еле
звон ионафановский
и полиелейный.

Не само искусство,
а перед искусством
схожее с испугом
праздничное чувство.

Перед каждым новым
вам не шелохнуться.
Между каждым словом —
с жизнью расстаются!

1972

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

ДУБОВЫЙ ЛИСТ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973

* * *

Приснись! Припомни, бога ради,
ту дрожь влюбленную в себе —
как проступает в Ленинграде
серебрянейший СПб.

1974

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!

Сирый цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские на Поля?
Как заплетали венок Вы на темя
Гранд-опера, Гранд-опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы Господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.
1973

СОЛОВЕЙ-ЗИМОВЩИК

Свищет всенощною сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей!

Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически —
гигиенически,
чтоб вы выжили, дурачье.

Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести,
кислорода и красоты.

Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется —
тайной жизни земной струя.

Ну а шея другой — лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.

Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано,
лишь на родине ты поешь.

Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.

Кто же тронул тебя берданкой?
Тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.

Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...

Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!

Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.

1971

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

ЛЕСНИК ИГРАЕТ

Р. Щедрину

У лесника поселилась залетка.
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою.

Как без воды
рассыхается лодка,
старая скрипка
рассохлась без музыки.

Скрипка висела с ружьями рядом.
Врезалась майка в плеча задубелые.
Правое больше
привыкло к прикладам,
и поотвыкло от музыки
левое.

Но он докажет этим мазурикам
перед приезжей с глазами фисташковыми —
левым плечом
упирается в музыку,
будто машину
из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...
Вслед тебе воют волки лесничества...

Майки изогнутая бретелька —
как отпечаток шейки
скрипичной.

1973

АИСТЫ

В. Жаку

В гнезде, венчающем березу,
стояли аист с аистихою
над черным хутором бесхозным
бессмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чащею,
как указанье Вифлеема.
Две шеи выгнуты сладчайше.

Вот так змея стоит над чашею,
став медицинскою эмблемой.

Но заколочено на годы
внизу хозяйское гнездовье.
Сруб сгнил. И аист без работы.
Ведь если награждать любовью,
то надо награждать — кого-то.

Я думаю, что Белоруссия
семей не возместила все еще.
Без них и птицы безоружные.
Вдруг и они без аистеныша?..

...Когда-нибудь, дождем накрытая,
здесь путница с пути собьется,
и от небесного события
под сердцем чудо в нем забьется.

Свое ощупывая тело,
как будто потеряла спички,
сияя, скажет: «Залетела.
Я принесу вам сына, птички».
1973

ГОВОРИТ МАМА

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»
1973

КОРОЛЕВСКАЯ ДОЧЬ

Ты — дочь полководца и плясуньи.
Я — вроде придворного певца.
Ко мне прибегаешь в полнолунье
в каморку, за статуей отца.

В годину сражений и пожара,
зубами скрипя, чтоб не кричать,
всю совесть свою, чтоб не мешала,
вдохнул он в твою хмельную мать.

Родилась ты светлая такая!
Но как-то замороженно-тиха.
Заснув со мной перед петухами,
кричишь, как от страшного греха.

Тогда постаменты опустеют.
И я холодею, как мертвец,
когда
по прогнувшимся
ступеням
ступает твой каменный отец.
1973

ЛЕСАЛКИ

Ромашек белая махина
столпилась в дебрях,
как буквы пишущих машинок
на длинных стеблях.

Неуловимые синицы
их лишь касались,
как пальцы милой машинистки —
или казались?

Ах, машбюро цветного бора,
ах, бабье лето,
и бабьи вспыхнувшие взоры
поверх кареток!

Мерцанье ленты муравейной,
лесалок «гвоздики»,
какое женское волненье
в дрожанье воздуха!

Каких постановлений тыщи,
в ветвях витая,
стучит твой пальчик,
неостывший
после свиданья?

Что вам сдиктовывает эхо
лесных совминов?
О чем вы прыскаете смехом,
оправив «мини»?

Не парки — экстрасекретарши
ткут опись леса,
и Тьму Времен, и Лист летящий,
и Осень с Летом.

А рыжая — на перерыве.
Легла в левкои полевые
и ловит зеркальцем карманным
на спине
укус комарий!

1967

* * *

Затосковала душа, охромела,
позапропала — не взять под уздцы...
Волки, Ирония и Измена,
режьте ее, санитары души.

Чтоб не томила она, не страдала
там, где нашейные позвонки,
широкогрудая санитарка,
благословенно вонзи резаки!

Отговорила душа, отстрадала.
Ноет стыднее болезни дурной
неистребимая, молодая
боль, именуемая душой!

1972

ЛЕТОПИСЕЦ

Летописец, ушедший в потемки,
ты презрел суету и печать.
На века идет работенка!
До бровей твой клобук преподобный,
он купальному шлему подобный —
воды Времени рассекать.
На суде твоем, тайно-жестком,
самодержец скривится, как тать,
в электрическом троне под током!
Приговор адресован потомкам.

Только некому будет читать.

1974

НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ

Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платьица!

Драгоценная потеря,
царственная нищета.

Будто тело запотело,
а на теле — ни черта.

Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало некуда носить.

Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало не для кого спеть.

Было нечего терять,
стало нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не на «ты»?

Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить,
стало некого любить.

1971

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен как стряпуха,
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Напишут чужою рукою
статейку за милого друга,
но подпись его под статьею
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
Венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974

* * *

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дожора.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи,
а думать — кто купит? — бог упаси!

Хочу низложенья просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —

жестяной лопатою дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли обогреться с морозца
и исповеди испить.

1974

* * *

Расчищу Твои снегопады,
дорожку пробью к гаражу.
По белоцерковному саду
машину свою вывожу.

Тебя соскребаю с асфальта,
весь полон минутою той,
когда Ты повалишься свято
меня засорять чистотой.

Такое покойное поле —
как если чернилами строк
я ночью бумагу заполню,
а утром он — белый, листок.

Но к черту веселой лопатой
счищаю Твою чистоту,
чтоб было Тебе неповадно
вторгаться в ту жизнь, что веду.

Не нужно чужого мне Бога,
я праздную темный мятеж.
Черна и просторна дорога,
свободная от небес!

Мой путь все вольней и дурнее.
Упрямо мое ремесло...
Приеду — остолбенею —
все снова Тобою бело.

1975

ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Ностальгия по настоящему

ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сижу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!

За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...
Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
пред витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет,
но, когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настающему,
что настанет. Да не застану.

1975

ПАМЯТНИК

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.
Счета его оплачиваю.
Врагов его казню.
Они с детьми своими
по тыще раз на дню
его повторят имя.
От Волги по Юкон
пусть будет знаменито,
как, цокнув языком,
любил он землянику.
Он для меня как бог.
По своему подобью
слепил меня, как мог,
и дал свои надбровья.
Он жил мужским трудом,
в свет превращая воду,
считая, что притом
хлеб будет и свобода.
Я памятник отцу,
Андрею Николаевичу,
сам в форме отточу,
сам рядом врою лавочку.
Чтоб кто-то век спустя
с сиренью индевеющей
нашел плиту «6 а»
на старом Новодевичьем.
Согбенная юдоль.
Угрюмое свечение.
Забвенною водой
набух костюм вечерний.
В душе открылась течь.
И утешаться нечем.
Прости меня, отец,

что памятник не вечен.

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу
и жребием своим
вмещаю ипостась,
что не досталась кладбищу, —
Отец — Дух — Сын.

1974

* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербуржской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,

отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичах.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступленья,
как сказали бы раньше — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.

Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такою свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копья.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,

стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссер павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

1975

ОБМЕН

Не до муз этим летом кромешным.
В доме — смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки
летят
с пальтеца,
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца.

И, как эхо их нового адреса,
провожая заплаканный скарб,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы — да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых
и без счастья счастливых людей.

1974

МОЛИТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж меня отдал толпе?
Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?

1975

* * *

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
широкоглазые
перископы мертвецов.

1975

ПОХОРОНЫ ЦВЕТОВ

Хороните цветы — убиенные гладиолусы,
молодые тюльпаны, зарезанные до звезды...
С верхом гроб нагрузивши,
на черном автобусе
провезите цветы.

Отпевайте цветы у Феодора Стратилата.
Пусть в ногах непокрытые Чистые лягут пруды.
«Кого хоронят?» — спросят
выходящие из театра.
Отвечайте: «Цветы».

Она так их любила, эти желтые одуванчики.
И не выдержит мама, когда застучит молоток.
Крышкой прихлопнули, когда стали
заколачивать,
как книжную закладку, белый цветок.

Прожила она тихо, и так ее тихо не стало...
На случайную почву случайное семя падет.
И случайный поэт
в честь Марии Новопреставленной
свою дочь назовет...

1975

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ

Вольноотпущенник Времени возмущает его рабов.
Лауреат Госпремии тех, довоенных годов
ввел формулу Тяжести Времени.
Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул из своих зубов.
Вольноотпущенник Времени восхищает его рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь с куста,
губкою в винном уксусе освежали наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал на любовь.
Созвездье Быка горело. С низин подымался рев —
в деревне в хлеву от ящура живьем сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен Твой часослов!
На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное эхо из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему рабов.
1975

* * *

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нем не чувствуют былого волшебства,
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»
1975

* * *

Друг мой, мы зажились. Бывает.
Благодать.
Раз поэтов не убивают,
значит некого убивать.
1975

РОССИЙСКИЕ СЕЛФ-МЕЙД-МЕНЫ

Пробегаю по каменьям,
и летает по пятам
поэт в первом поколенье —
мой любимый адъютант.

Честность в первом поколенье,
за душою ни рубля.

Самородки, селф-мейд-мены
сами делают себя.

Их шлифуют педсистемы,
благолепие любя.
Поколенья селф-мейд-менов
сами делают себя.

Есть у Музы подвиг страдный,
и посты монастыря,
и преступная эстрада —
как гулящая сестра!

Совесть в первом поколенье
и опасная судьба —
разоряя озареньем,
рождать заново себя.

Как обкуренную трубку,
не ревнуя, не скорбя,
джинсы, сшитые из Врубеля,
подарю после себя.

Волю в первом поколенье,
на швах вытертый талант,
но не стертый на коленях.
Будь мужчиной, адъютант!

Не ослушайся приказа:
тело может сбить с лыжни.
Уходя, как ключ, два раза
во мне ножик поверни.

1975

НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.
На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок — не одну,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.
Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.
(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

1975

ПЕСЧАНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.

Пробегает по Москве —
остается: «ЧЕЛОВЕ...».

Где ты, Детское Село?
Остается лишь: «ЧЕЛО...».

Майка виснет на плече:
остается только: «ЧЕ...».

. . . . . .

Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

1975

ЭРМИТАЖНЫЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело,
сжатый, как скрепка писчебумажная,
что впрессовал в тебя чувственный старец?
Тексты истлели. Скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде склепа,
будто два мрака, сплетенные слепо,
дух запредельный и плотская малость
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный Создатель,
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрепочка Божья!

1975

ЗАСУХА

В саду омывая машину,
к обочине перейду
и вымою ноги осине,
как грешница ноги Христу.

И ливень, что шел стороною,
вернется на рожь и овес.
И свет мою душу омоет,
как грешникам ноги Христос.

1975

МУЗЕ

(Надпись на избранном)

В садах поэзии бессмертных
через заборы я сигал,
я все срывал аплодисменты
и все бросал к Твоим ногам.

Но оказалось, что загадка
не в упоенье ремесла.
Стихи ж — бумажные закладки
меж жизнью, что произошла.

1975

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.

1975

РЕКВИЕМ

Возложите на море венки.
Есть такой человечий обычай —
в память воинов, в море погибших,
возлагают на море венки.

Здесь, ныряя, нашли рыбаки
десять тысяч стоящих скелетов,
ни имен, ни причин не поведав,
запрокинувших головы к свету,
они тянутся к нам, глубоки.
Возложите на море венки.

Чуть качаются их позвонки,
кандалами прикованы к кладбищу,
безымянные страшные ландыши.
Возложите на море венки.

На одном, как ведро, сапоги,
на другом — на груди амулетка.
Вдовам их не помогут звонки.
Затопили их вместо расстрела,
души их, покидавшие тело,
по воде оставляли круги.

Возложите на море венки
под свирель, барабан и сирены.
Из жасмина, из роз, из сирени
возложите на море венки.

Возложите на землю венки.
В ней лежат молодые мужчины.
Из сирени, из роз, из жасмина
возложите живые венки.

Заплетите земные цветы
над землею сгоревшим пилотам.
С ними пили вы перед полетом.
Возложите на небо венки.

Пусть стоят они в небе, видны,
презирая закон притяженья,
говоря поколеньям пришедшим:
«Кто живой — возложите венки».

Возложите на Время венки,
в этом вечном огне мы сгорели.
Из жасмина, из белой сирени
на огонь возложите венки.

1975

МОЛИТВА СПРИНТЕРА

Четырежды и пятерижды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей своих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобожденно
в невытоптанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идем.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

1975

МОНОЛОГ ЧИТАТЕЛЯ НА ДНЕ ПОЭЗИИ – 1999

Четырнадцать тысяч пиитов
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах –
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минеры,
скажу в ликование:
«Желаю прослушать Смурновых
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смурновых
захлопают, как орлы
с трех тыщ этикеток «Минводы»,
пытаясь взлететь со скалы.

И хор, содрогнув батисферы,
сольется в трехтысячный стих.

Мне грянут аплодисменты
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно
автографов ждет у кулис.
Доходит до самоубийств!
Скандирующие сурово
Смурновы, Смурновы, Смурновы
желают на «бис».

И снова как реквием служат,
я выйду в прожекторах,
родившийся, чтобы слушать
среди прирожденных орать.

Заслуги мои небольшие,
сутул и невнятен мой век,
средь тысячей небожителей —
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.
Не то, что бывал я пророк,
а что не берег перепонки,
как раньше гортань не берег.

«Скажи в меня, женщина, горе,
скажи в меня счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле,
но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить
невысказанное, заветное...
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,
как Богу, которого нету!»

Я буду любезен народу
не тем, что творил монумент, —
невысказанную ноту
понять и услышать сумел.

1975

КРАСОТА

Я, урод в человечьем ряду,
в аллергии, как от крапивы, —
исповедую красоту.
Только чувство красиво.

Исповедую луг у Нерли,
не за имя,
а за то, что он полон любви,
и любви невзаимной.

Исповедую спящей черты...
Мне будить Тебя грустно и чудно.
Прежде чем пробуждаешься Ты —
пробуждается чувство.

Исповедую исповедь-быль:
в век научно-технический, бурный,
гастролера, чье имя забыл,
полюбила студентка-горбунья.

Полюбила исподтишка,
поливала цветы сокровенно.
Расцветали в горбатых горшках
целомудренные цикламены.

Полюбила, от срама бледна,
от позора таясь, как ракушка.
Прежде чем появлялась она,
появлялось сияние чувства.

Лик закинув до забытья,
вся светясь и дрожа от волненья, —
словно зеркальце для бритья —
вся ловила его отраженье.

Разбить зеркальце не к добру.
Была милостыня свиданья.

Просияло в аэропорту
милосердье страданья.

Переписка их, свято нага,
вслух читалась на почте.
Завизжала и прогнала,
когда он к ней вернулся пошло.

Он стоял на распутьях пустых,
подбирал матерщину обидную.
Он ее милосердье постиг.
Как ему я завидую!

Городка подурнели черты.
А над нею — как холмик печали —
плачет чувство такой красоты!
Его ангелом называли.
1976

* * *

Груша заглохшая, в чаще одна,
я красоты твоей не нарушу.
Ни для кого — лишь для меня
радуешь глаз, радуешь душу.

Сосны цветут — свечи огня
спрятав в ладошки будущих шишек,
тянут, от ветра тебя заслоня.
Хочешь — кури, хочешь — сватайся к Мнишек.

Нету тщеславия в наших лесах.
Виснут черемухи свежие стружки.
Только за то, что от них вы в слезах,
радуют глаз, радуют душу.
1976

* * *

Не исчезай на тысячу лет,
не исчезай на какие-то полчаса...
Вернешься Ты через тысячу лет,
но все горит
Твоя свеча.

Не исчезай из жизни моей,
не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все.
Только Ты не из их числа.
Будь из всех исключением,
не исчезай.

В нас вовек
не исчезнет наш звездный час,
самолет,
где летим мы с тобой вдвоем,
мы летим, мы летим,
мы все летим,
пристегнувшись одним ремнем, —
вне времен, —
дремлешь Ты на плече моем,
и, как огонь,
чуть просвечивает ладонь Твоя. Твоя ладонь...

Не исчезай
из жизни моей.
Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысячи ламп.
И в каждой есть тысячи свеч,
но мне нужна
Твоя свеча.

Не исчезай в нас, Чистота,
не исчезай, даже если подступит край.
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
я исчезнуть Тебе не дам.

Не исчезай.

1975

МЕЛОДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьет крылами «У» горизонтальное —
и утки унесутся за Онтарио.

В латынь — латунь органная откликнулась,
а хоровые клиросы —
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделася —
как Богоматерь, ждущая младенца.

1974

ЗАПЛЫВ

Передрассветный штиль,
александрийский час,
и ежели про стиль —
я выбираю брасс.

Где на нефрите бухт
по шею из воды,
как Нефертити бюст,
выныриваешь ты.
Или гончар какой
наштамповал за миг
наклонный
частокол
ста тысяч
шей
твоих?

Хватаешь воздух ртом
над струйкой завитой,
а главное потом,
а тело — под водой.

Вся жизнь твоя как брасс,
где тело под водой,
под поволокой фраз,
под службой, под фатой...

Свежо быть молодой,
нырнуть за глубиной
и неотрубленной
смеяться головой!..

...Я в Южном полушарии
на спиночке лежу —
на спиночке поджаренной
ваш шар земной держу.

1972

СТЕКЛОЗАВОД

Сидят три девы — стеклодувши
с шестами, полыми внутри.
Их выдуваемые души
горят, как бычьи пузыри.

Душа имеет форму шара,
имеет форму самовара.
Душа — абстракт. Но в смысле формы
она дает любую фору!

Марине бы опохмелиться,
но на губах ее горит
душа пунцовая, как птица,
которая не улетит!

Нинель ушла от мотористa.
Душа высвобождает грудь,
вся в предвкушенье материнства,
чтоб накормить или вздохнуть.

Уста Фаины из всех алгебр
с трудом три буквы назовут,
но с уст ее абстрактный ангел
отряхивает изумруд!

Дай дуну в дудку, постараюсь.
Дай гостю душу показать.
Моя душа не состоялась,
из формы вырвалась опять.

В век Скайлэба и Байконура
смешна кустарность ремесла.
О чем, Марина, ты вздохнула?
И красный ландыш родился.

Уходят люди и эпохи,
но на прилавках хрусталя
стоят их крохотные вздохи
по три рубля, по два рубля...

О чем, Марина, ты вздохнула?
Не знаю. Тело упорхнуло.
Душа, плененная в стекле,
стенает на моем столе.

1974

* * *

Под ночной переделкинский поезд
между зеркалом и окном
увлекательнейшую повесть
пишет женщина легким пером.

Что ей поезда временный посвист
и комарная сволота?

Лампа золотом падает в повесть
и такие же волоса.

Я желаю ей, чтобы повесть
удалась,
чтоб была в ней гармония, то есть
что не складывается подчас.

1975

* * *

Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.

Все — конечно, и ты — конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

1976

ПЕВЕЦ

Ароматный стих как сухарь —
с темным тмином хлеб бородинский.
Прав был нравственно государь,
а безнравственный Баратынский —
словно голубя, отсылал
стих к иной земле Баратынский.
Уже с Марса вернулся сигнал.
Только голубь не воротился.

Наконец он вернулся, гонец,
с запыленною ветвью столетий.
Есть земля! Прав певец.
Только некому голубя встретить.

1975

* * *

Н. А. Козыреву

Живите не в пространстве, а во времени,
минутные деревья вам доверены,
владейте не лесами, а часами,
живите под минутными домами

и плечи вместо соболя кому-то
закутайте в бесценную минуту.

Какое несимметричное Время!
Последние минуты — короче,
последняя разлука — длиннее...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.

Умирают — в пространстве.
Живут — во времени.

1975

* * *

Все возвращается на круги свои.
Только вращаются круги сии.

Вот вы вернулись, отмаявши крюк,
круг разомкнулся — да был ли тот круг?

Годы чужие. Жены чужие.
Вам наплевать — вы о них не тужили!

Ах, усмехающееся «вы»
круга невинности, дома, любви...

Все бы сменял, чтоб узнать на лице
снег твой несмятый
на раннем крыльце!

1968

* * *

Для души, северянки покорной,
и не надобно лучшей из пищ.
Брось ей в небо, как рыбам подкормку,
монастырскую горсточку птиц!

1975

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

Все хорошо пока что.
Лишь беспокоит немного
ламповый, непогашенный
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний
или двойник дурного —
жалостный, электрический
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли
счастливо, но в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали.

Проволочкой накалившейся,
тем еще безутешней,
слабый и электрический,
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии,
но что-то тебе мешает.
Жалостный электрический
к белому примешался.

1972

ВТОРЫЕ РОЩИ

Мне лаяла собачка белая.
И на холме за хуторами

две рощи — правая и левая —
лай этот эхом повторяли.

Два разделившиеся эха
в них пели, плакали, свистели,
как в двух расстроенных, ореховых,
стереофонических системах.

Я закричал, не знал, что делаю.
И надо мной в вечернем гуле
две рощи — правая и левая —
моим же голосом вздохнули.

1974

* * *

Я не ведаю в женщине той
черной речи и чуингама,
та возлюбленная со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А ее уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973

ЗАРАСТАЮЩЕЕ ОЗЕРО

(На мотив М. Чаклайса)

Я полюблю вас, клювы кувшинок,
шум камышиный, птичьи ватаги,
я прикасаюсь рукою мужчины
к лодкам
со скользкими животами.

Заполонило,
заполонило
переполохом купав и купальщиц,

я переполнен наполовину
отсветом башен, в воду упавших.

Позарастаем, позарастаем,
позарастает озеро лесом,
позарастает пень
мирозданьем,
тело — душою,
души — телесным.

Женщина с зябнущим следом бикини
из целлулоидного Марокко,
я поцелуев твоих не покину,
мы зарастаем луной и морошкой.

Позарастаем —
значит, полюбим,
все, что получим,
сразу раздарим —
листья плавучие
с медной полудой,
плавное тело
с душным загаром.

Позарастаем —
значит, полюбим,
так зарастает озеро
лугом,
так прорастает вечер
полуднем,
так прорастают встречи
разлукой.

И не понять,
где инстинкты, где разум?
И не понять,
где вода, где осока?
В белых губах твоих
стиснута фраза —
утром — вульгарно,
ночью — высоко.

1971

* * *

Облака лежали штучные.
У небес пасхальный цвет.
Солнце было в белой тучке,
точно яйца на просвет.

Откровенная локальность
мне напоминала пляж,
где отчетлив и нахален
мой излюбленный типаж.

Шорты белые внатяжку
на телах как шоколад,
как литые унитазы
в темном воздухе парят.

1971

* * *

(На мотив Г. Абашидзе)

Если б тебя не было
рядом с моей судьбою —
то для какого неба
я б возводил соборы?

Дети умчались радостно.
Вот мы одни с тобою,
как две половинки раковины,
выброшенные прибоем.

Годы идут. Все пристальней
вижу с тоскою острой —
ты — моя божья пристань,
мой единственный остров.

Вера моя алмазная!
Даже уйдя в могилу,
ставши душой и разумом,
буду тебе молиться.

Я потому пугаюсь
той, неземной субстанции —
вдруг там твой свет погаснет?
Вдруг мы с тобой расстанемся?

1980

СОН

На площади судят нас, трех воров.
Я тоже пытаюсь дознаться — кто?
Первый виновен или второй?
Но я-то знаю, что я украл.

Первый признался, что это он.
Второй улики кладет на стол.
Меня прогоняют за то, что вру.
Но я-то помню, что я украл.

Пойду домой и разрою клад,
где жемчуг теплый от шеи твоей...

И нет тебя засвидетельствовать,
чтобы признали, что я украл.

1973

АНАФЕМА

Памяти Пабло Неруды

Лежите Вы в Чили, как в братской могиле.
Неруду убили!

Поэтов тираны не понимают,
когда понимают — тогда убивают.

Солдаты покинули Ваши ворота.
Ваш арест окончен. Ваш выигран раунд.
Поэт умирает — погибла свобода.
Погибла свобода —
поэт умирает.

Убийцы с натруженными руками
подходят с искусственными венками.

Лежите Вы навзничь, цветами увитый, —
как Лорка лежал, молодой и убитый.
Матильду, красивую и прямую,
пудовые слезы
к телу
пригнули.

Оливковый Пабло с глазами лиловыми,
единственный певчий
среди титулованных,
Вы звали на палубы,
на дни рождения!..
Застолья совместны,
но смерти — раздельные...
Вы звали меня почитать стадионам —
на всех стадионах кричат заключенные!

Поэта убили, Великого Пленника...
Вы, братья Неруды,
затворами лязгая,
наденьте на лацканы
черные ленточки,
как некогда алые, партизанские!
Минута молчанья? Минута анафемы
заменит некрологи и эпитафии.

Анафема вам, солдафонская мафия,
анафема!
Немного спаслось за рубеж
на «Ильюшине»...

Анафема
моим демократическим иллюзиям!

Убийцам поэтов, по списку, алфавитно —
анафема!
Анафема!
Анафема!

Пустите меня на могилу Неруды.
Горсть русской земли принесу. И побуду.
Прощусь, проглотивши тоску и стыдобу,
с последним поэтом убитой свободы.

1973

ОЛЕНЬЯ ОХОТА

Трапециями колеблющимися
скользя через лес,
олени,
как троллейбусы,
снимают ток
с небес.

Я опоздал к отходу их
на пару тысяч лет,
но тянет на охоту —
вслед...

Когда их Бог задумал,
не понимал и сам,
что в душу мне задует
тоску по небесам.

Тоскующие дула
протянуты к лесам!

О эта зависть резкая,
два спаренных ствола —
как провод перерезанный
к природе, что ушла.

Сквозь пристальные годы
тоскую по тому,
кто опоздал к отлету,
к отлову моему!

1968

МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

ВСЛЕПУЮ

По пояс сне́га,
по сердце снега,
по шею снега,
вперегонки,
ни человека —
летят машины, как страшные снежки!

Машин от снега не очищают.
Сугроб сугроба просит прикурить.
Прохожий — Макбет. Чревовещая,
холмы за ним гонятся во всю прыть.

Пирог с капустой. Сугроб с девицей.
Та с карапузом — и все визжат.
Дрожат антенки, как зад со шприцем.
Слепые шпарят, как ясновидцы, —
жалко маленьких сугробят!

Сугроб с прицепом — как баба снежная.
Слепцы поют в церкви — снега́, снега...
Я не расшибся, но в гипсе свежем,
как травматологическая нога.

Негр на бампер налег, как пахари.
Сугроб качается. «Вив ламур!»
А ты в «фольксвагене», как клюква в сахаре,
куда катишься — глаза зажмурь!

Ау, подснежник в сугробе грозном,
колдунья женского ремесла,

ты зажигалку системы «Ронсон»
к шнуру бикфордову поднесла...

Слепые справа, слепые слева,
зрячему не выжить ни черта.
Непостижимая валит с неба
великолепная слепота!

Да хранит нас
и в глаза лепится
в слепое время, в слепой поход
слепота надежд,
слепота детств,
слепота лепета
и миллионы иных слепот!

Летите слепо, любите слепо,
и пусть я что-то не так спел,
и если за что-то накажет небо —
что был от любви
недостаточно слеп.

1971

МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

Их, наверно, тыщи — хрустящих лакомок!
Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой
хрустальный благовест.
Так необычаен молчальный звон.

Он не ради славы, молчальный благовест,
просто лущат пищу — отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась —
молчальный звон!..

Этот звон молчальный таков по слуху,
будто сто отшельничающих клестов

ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой — групповые свадьбы.
Есть и не поклонники групповщин.

Групповые драки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жен,
ну а получается
молчальный звон!

В этом клестианстве — антипод свинарни.
Чистят короедов — молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет
молчальный звон!

Юркие ньюйоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо,
клесты.
Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущен.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —
молчальный звон...

1971

СВЕЧА

Зое

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая
свеча, снижаясь, догорит
от неба к нашему подножию?
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
меж тыщи похоронных свечек —
свечу заздравную твою.

1971

* * *

А. Дементьеву

Увижу ли, как лес сквозит
или осоку с озерцами,
не созерцанье — сосердцанье
меня к природе пригвоздит.

Вечерний свет ударит ниц,
и на мгновение, не дольше,
на темной туче восемь птиц
блеснут, как гвозди на подошве.

Пускай останутся в словах
вонзившиеся эти утки,
как у Есенина в ногтях
осталась известь штукатурки.

Как он цеплялся за косяк,
пока сознанье не потухло!

1971

* * *

Нависает наполовину
с телеграфной тугой струны
вертикальная паутина —
как хрустальный генплан Москвы.

Беловежская панорама.
Паучок лесной хитроват.
Осторожнее, телеграммы!
Не стряхните его Арбат.

1971

НОВЫЙ АРБАТ

На Арбат прошвырнусь, пока спишь ты.
К небесам запрокину лицо,
где нездешняя белая птица
положила на крышу яйцо.

Почему она выбрала этот
небоскреб? А не древний дворец?
Верю в диалектический метод.
Скоро вылупится птенец.

1972

* * *

В толпе меж рынком и кинотеатром
я встретился с кентавром.
Мототележка продолжала тело,
а может, тело продолжало тару?
Он над толпою ехал, осовело
прохожих раздвигая, как копьем,
мифологическим словарем.
Граждане расступались.
Все мы пьем.

1972

ЯБЛОКИ С БРИТВАМИ

Хэллувин, Хэллувин — ну куда Голливуд?! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!

В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными ритмами
по дорогам гуляет осенний пикник.
Воздух яблоком пахнет,
но яблоком с бритвами.
На губах перерезанный бритвою крик.

Хэллувин — это с детством и летом разлука.
Кто он? — сука? насмешник? добряк? херувим?
До чего ты страшна, современная скука!
Хэллувин...

Ты мне шлешь поздравленья, слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, девичий пыл,
но любовь — это райское яблоко с бритвами.
Сколько раз я надкусывал, сколько дарил...

Благодарствую, Боже, твоими молитвами,
жизнь — прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами, и за яблоки с бритвами
ты простишь нас. И мы тебя, Боже, простим.

Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Судилище том
допросить усмехающийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!

1974

* * *

Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке,
тыльной ладонью лаская стекло,
моешь окно — как играют на арфе.
Чисто от музыки и светло.

1975

* * *

Висит метла — как танцплощадка,
как тесно скрученные люди,
внизу, как тыща ног нещадных,
чуть-чуть просвечивают прутья.
1971

ОБСЕРВАТОРИЯ

Мы живем между звездами и пастухами
под стеной телескопа, в лачуге, в саду.
Нам в стекло постучали:
«Погасите окно — нам не видно звезду».

Погасите окно, алых штор дешевизну,
из двух разных светил выбирайте одно.
Чтоб в саду рассвели гефсиманские дикие вишни,
погасите окно.

Мы окно погасили, дали цезарю цезарево.
Но сквозь тысячи лет — это было давно! —
пробивается свет, что с тобой мы зарезали.
Погасите звезду — мне не видно окно.
1975

ТЕРНОВНИК

Н. Козыреву

В чудотворном цветении терна
есть неведенье про подлог.
И подобье медвяного стона
тянет в сторону от дорог.

Есть в снотворном цветении терна
нота боли или тоски —

словно яблок сквозь крупную терку
или с сердца летят лепестки.

Отклонитесь в цветение терна
от проторенной колеи
в звон валторны — слабей на полтона,
чтобы слышать другие могли.

Я твои не обижу повторно
оклеветанные цветы...
Нет шипов у цветущего терна.
Отцветет — и начнутся шипы.

1975

ПРОСТИ МНЕ

В сухих погремушечных георгинах —
а может, во сне —
доносится пошлая фраза «форгив ми!»
невесть почему в обращенье ко мне.

Должно быть, у памяти в фоноархиве
осталась нестертая строчка одна.
Я не был в америках. Что за «форгив ми»?
Зачем не по-русски ты мучишь меня?

Как если раскаявшаяся гуляка,
уходит душа, сбросив вас как белье,
как если хозяева травят собаку
и просят прощения у нее!..

Но кто-то ж виновен, что годы погибли?
Что тело по гривне пошло по стране?
И я повторяю — «форгив ми, форгив ми» —
мой собственный вздох, обращенный ко мне.

1975

* * *

В. Шкловскому

Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину,
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру,
стали пищею хлеб и вода.
Жил как йог, заклиная картину.
Она падала без гвоздя.

Стали краски волшебно-магнитны,
примерзали к ним люди, входя.
Но стена не хотела молитвы
без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях
проступают следы от гвоздя».

Умер он, изможденный профессией.
Усмехнулась скотина-звезда.
И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.

1975

* * *

На улице, где ты живешь
над новогодней велогонкой,
ко мне прибился лживый пес,
чертополох четвероногий.

Как шапку и другие вещи,
его я оставлял внизу.
Но гаснут елочные свечи,
когда я в комнату вхожу.

1975

* * *

Льнешь ли лживой зверью,
юбкою вертя,
я тебе не верю —
верую в тебя.

Бьешь ли в мои двери
камнями, толпа, —
я тебе не верю.
Верую в тебя.

Красная ль, скверная ль
людская судьба —
я тебе не верю.
Верую в себя.

1975

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей
с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон
дома как в парикмахерской
много сухой иглы
простыни перетряхиваются
не подмести полы
вместо метро «Вернадского»
кружатся дерева
сценою императорской

кружится Павлова
с первого по тринадцатое

только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет
вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся
старое настает
будто репатриация

я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
светлая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое.

1975

СОБЛАЗН

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже Всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

НЕЧИСТАЯ СИЛА

В развалинах духа, где мысль победила,
спаси человека, нечистая сила —
народная вера цветка приворотного,
Пречистая Дева греха первородного.

Он звал парикмахерскую «Чародейка»,
глумился над чарами честолюбиво.
Нечистая сила, пойми человека,
оставь человека, нечистая сила!

За чащи разор и охоты за ведьмами,
за то, что сломал он горбатую сливу, —
прощеньем казни, возвращенным неведеньем,
оставь человека, нечистая сила!

Зачем ты его, поругателя родины,
безмозглая сила, опять полюбила —
рябиной к нему наклонясь
черноплодною,
как будто затмением
красной рябины?..

1978

* * *

Я внесу тебе клумбу зимнюю.
Цикламены дышат свежо,
сжаты ручкою от корзины,
как твое в бретельке плечо.

1980

* * *

Я загляжусь на тебя, без ума
от ежедневных твоих сокровищ.
Плюнешь на пальцы. Ими двумя
гасишь свечу, словно бабочку ловишь.
1977

СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.
Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Вёсны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Темное время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,

пламя, пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умотаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.
1977

СЕВЕР

Островам незнакома корысть,
а когда до воды добредаем,
прилетают нас чайки кормить
красотою и состраданьем.

Красотою, наверно, за то,
что мы в людях с тобой не погибли,
что твое золотое пальто
от заката лоснится по-рыбьи.

Состраданьем, наверно, за то,
что сквозь хлорную известь помёта
мы поверили шансов на сто
в острый запах полета.
1977

ИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ ГРАФА РЕЗАНОВА ИЗ ОПЕРЫ «ЮНОНА» И «АВОСЬ»

И в моей стране и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране и в твоей стране.

И в одной цене, — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоем вранье и в моем вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране и в моей стране.

1977

* * *

Я год не виделся с тобою.
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое
такое же — и все другое.

Расспросов карие укоры —
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою —
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною,
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою
такое же — и все другое.

Ночное небо, как при Ное,
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизишься — окажешься
ты неожиданно такая же.
1977

НЫРОК

Утица, сбитая камнем туриста,
билась в волне.
На руки взял я строптивую птицу.
«Что же творится?» — подумалось мне.

С ношею шел я в ночи и позоре.
Мне попадались стада и дома.
Их ли вина, что на нервах мозоли?
«Что же творится?» — не шло из ума.

Клювом исколот я был, как Рахметов.
Теплая тяжесть жалась к душе.
Было до города пять километров.
Фельдшер жила на втором этаже.

Вдруг я узнал в незнакомой квартире
каждую комнату, как укор.
Прошлой зимою тебя прихватило.
Тебя приводил я сюда на укол.

Та же в дверях фельдшерица со шприцем.
Та же подушка в разбитом окне.
Я, как убийца, протягивал птицу.
«Что же творится?» — думалось мне.
1977

ЛЕСНАЯ МАЛИЦА

Мало я в жизни успел быстротечной.
Мало любил вас, друзья и красавицы.
Мало я пил из вас, русские малицы, —
эти источники чистосердечные.

Чистосердечна, чистосердечна
эта ладошка воды под обрывом.
Чистосердечная соотечественница,
роща с тобой не договорила.

С чистосердечной этой печалью
быстро снуют паутинки пространства,
что-то к одежде твоей пришивая,
в тайной надежде с тобой не расстаться.

1977

ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ

Б. С.

Привинченный к полу,
за третьей дверью,
под присмотром
бодрствующих старух, —
непоправимая наша вера,
пленный томится
Дух.

Самые бронированные —
самые ранимые —
самые спокойные
напоказ...
Вынуты из раковины
две непоправимые
замученные
жемчужины
серых глаз.

Всем дававший помощь,
а сам беспомощный,
как шагал уверенно в ресторан!..
То, что нам казалось
железобетонищем,
оказалось коркою
свежих ран.

Лежит дух мужчины на казенной простыне,
внутренняя рана —
чем он был, оказывается...
Ему фрукты носят,
как прощенья просят.

Он отказывается.

1977

ДРУГУ

Душа — это сквозняк пространства
меж мертвой и живой отчизн.
Не думай, что бывает жизнь напрасной,
как будто есть удавшаяся жизнь.

1977

* * *

Виснут шнурами вечными
лампочки под потолком.
И только поэт подвешен
на белом нерве спинном.

1977

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Незнакомая, простоволосая,
застучала под утро в стекло.

К телефону без голоса бросилась.
Было тело его тяжело.

Мы тащили его на носилках,
угол лестницы одолев.
Хоть душа упиралась — насильно
мы втолкнули его в драндулет.

Перед третьими петухами,
на исходе вторых петухов,
чтоб сознанье не затухало,
словно «выход» зажегся восход.

Как божественно жить, как нелепо!
С неба хлопья намокшие шли.
Они были темнее, чем небо,
и светлели на фоне земли.

Что ты видел, летя в этой скорби,
сквозь поломанный зимний жасмин?
Увезли его в город на «скорой».
Но душа не отправилась с ним.

Она пела, к стенам припадала,
во вселенском сиротстве малыш.
Вдруг опомнилась — затрепетала,
догнала его у Мытищ.

1977

* * *

Знай свое место, красивая рвань,
хиппи протеста!
В двери чуланные барабань,
знай свое место.

Я безобразить тебе запретил.
Пьешь мне в отместку.
Место твое меж икон и светил.
Знай свое место.

1977

* * *

Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость.
Только мы с тобой знаем — из какой ты шкалы.
И за это твоя дальнобойная ненависть
меня сбросила со скалы.

Это теоретически невозможно.
Только мы с тобой знаем — спасибо тебе, —
как колеса мои превратились в восьмерки,
как злорадна усмешка у тебя на губе.

Только мы с тобой знаем: в моих новых расплатах
(я не зря подарил тебе малахит) —
есть отлив твоего лиловатого взгляда.
Что ж, валяй! Я прикинусь, что я мазохист.

И за это за все — как казнят чернокнижницу —
привезу тебя к утреннему крыльцу,
погляжу в дорогие глаза злоумышленницы,
на прощанье губами перекрещу.

1977

ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни черной, ни золотой.

Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.

Важны не хула или слава,
а есть в нем музы́ка иль нет.
Опальны земные державы,
когда отвернется поэт.

1978

ГРЕХ

Я не стремлюсь лидировать,
где тараканьи бега.
Пытаюсь реабилитировать
вокруг понятье греха.

Душевное отупение
отъевшихся кукарек —
это не преступленье —
великий грех.

Когда осквернен колодец
или Феофан Грек —
это не уголовный,
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной
зарезан будущий смех —
это не преступленье,
а смертный грех...

Но было б для Прометея
великим грехом — не красть.
И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн — не пасть.

Ах, как она совершила
его на глазах у всех —
Россию завороживший
бессмертный грех!

А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что — не убил.

1977

* * *

Когда написал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
«Поэзия выше нравственности»,
читается — «выше вашей»!

И Блок в гробовой рубахе
уже стоял у порога
в ирреальную иерархию,
где бог — в предвкушенье Бога.

Тот бог, которого чувствуем
мы нашей людской вселенной,
пред богом иным в предчувствии
становится на колени.

Как мало меж званых избранных,
и нравственно и душевно,
как мало меж избранных искренних,
а в искренних — предвкушенья!

Работающий затворником
поэт отрешен от праха,
но поэт, что работает дворником,
выше по иерархии!

Розу люблю иранскую,
но синенький можжевельник
мне ближе по иерархии
за то, что цвесть тяжелее.

А вы, кто перстами праздными
поэзии лезет в раны, —
вы прежде всего безнравственны,
поэтому и бездарны.

1977

* * *

Словно ввели в христианство тебя,
роща, омытая будто язычница.
Как звонко эхо после дождя!
Как после слез твое сердце отзывчиво!
1977

* * *

М. Рощину

Сердце русского драматурга
держат хьюстонские врачи —
словно вынуто из шкатулки
содроганье живой воды.

Да спасут тебя, Миша, сила
бескорыстнейших рук земных
и небесные Михаилы
из медвежьих углов лесных...
1978

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Не «Отче наш», не обида, не ужас
сквозь мостовую и стужу ночную,
первое, что осенило, очнувшись:
«Чувствую — стало быть, существую».

А в коридоре больничном, как в пристани,
не протестуя, по два на стуле,
тесно сидели суровые истины —
«Чувствую — стало быть, существую».

Боли рассказывают друг другу.
«Мать, — говорю, — подверни полотенце».

Нянчит старуха кормилицу-руку,
словно спеленатого младенца.

Я за тобою, мать малолетняя,
я за тобой, обожженец вчистую.
Я не последний, увы, не последний...
Чувствую — стало быть, существую.

«Сын, — утешают, — ключица не познать что...»
Звякнут прибывшему термосом с чаем.
Тоже обходятся без обезболивающего.
Так существуем, так ощущаем.

Это впадает народное чувство
из каждодневной стихии — в другую...
Этого не рассказал Заратустра —
«Чувствую — стало быть, существую».

Пусть ты расшибся, завтра из гипса
слушая первую птицу земную,
ты понимаешь, что не ошибся, —
чувствую — стало быть, существую!

Ты подойдешь для других незаметно.
Как ты узнала в разлуку такую?
Я поднимусь — уступлю тебе место.
Чувствую — стало быть, существую.

1977

ФАРЫ ДАЛЬНЕГО СВЕТА

Если жизнь облыжная вас не дарит дланями —
помогите ближнему, помогите дальнему!

Помогите встречному, все равно чем именно.
Подвезите женщину — не скажите имени.

Не ищите в Библии утешенья книжного.
Отомстите гибели — помогите ближнему.

В жизни чувства сближены, будто сучья яблони,
покачаешь нижние — отзовутся дальние.

Пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила,
улыбнутся ближние, улыбнутся дальние.

У души обиженной есть отрада тайная:
как чему-то ближнему, улыбнуться — дальнему...

1977

МАЛЫЙ ЗАЛ

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрии и примусов
в мире, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В темных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину,
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали — любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите — своей.
1983

ВЕСТНИЦА

Я к вечеру шестого мая
в глухом кукушкином лесу
шел, просекою подымаясь,
к электротягам на весу.

Как вдруг,
спланировав на провод,
вольна причудой неземной,
она, серебряная в профиль,
закуковала надо мной.

На расстоянье метров сорок,
капризница моих тревог,
вздымала ювелирно зорко
свой беззаботнейший зобок.

Судьбы прищепка бельевая,
она причиною годов
нечаянно повелевала.
От них качался проводок.

И я стоял, дурак счастливый,
под драгоценным эхом их.
Я был отсчитывать не в силах.
Неважно сколько — но каких!

О боже, — думал — как жемчужно
ниспосланы наверняка —
необъяснимая пичужка,
нежданные твои века!
1983

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

Герцена интеллигенция!
Кто раскаялся, что лгал,
пусть подаст, как индульгенцию,
контрамарку в Малый зал.

В этом схожесть с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.

1982

СЕСТРА

Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха, как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc.
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик
написал бы Кранах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!

Что за дальний свет состраданья,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..

Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.
Кто сказал,
что не труженица
лобастая стрекоза?
Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,
не воруешь,
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор.
И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком
или сойдя с катушек,
когда я на острие, —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вздохнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет,
как чугунный топот Петра.
А рядом — за стенкой,
за Истрою, за Москвою —
страна живет, как сестра.

Сестра твоя по страданью,
по божеству родства,
по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?
Сестра моя, поспала бы...
В зимние вечера
над шитьем сутулятся
две русых настольных лампы.
Одна из них — моя сестра.

1982

ПРОПОРЦИИ

Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые шли,
были по три сажени — ровно
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде или Твери
чуял сердцем мильонную радиуса
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья,
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две мильонные доли Земли.

И как брат их березовых родин,
гениален на тот же размер,

Парфенона дорический ордер
в высоту шесть саженей имел.

Научитесь у них, умиленно-
пасторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли.

Ломоносовскому проспекту
не для моды ведь зодчий Москвы
те шестьсот тридцать семь сантиметров
дал как модуль красы и любви.

Дай, судьба, мне нелегкую долю,
испытанья любые пошли —
болью быть и мильонною долей
и моей, и всеобщей земли!

1983

* * *

Вижу, как сон, — ты стоишь в полукруге
новых подруг девятого дня.
Сосредоточенно, но не в испуге,
будто в обиде, не видишь меня.

А по спине под луной купоросной
льется волос распущенных вал.
Мало я знал тебя простоволосой.
В детстве, проснувшись, в пучке заставал.

Ты была праведница, праведница!
Кто ты теперь? Дай мне знать как-нибудь.
Будто с заминкой какой-то не справишься.
Я не решился тебя спугнуть.

Видно, стояла перед астралом.
Или русалка какая, шутя,
меня разыгрывала, отсталого?
Еще секунду я видел тебя.

Темной тревогой вздрогнуло тело —
мать пролетела.

Милое дело. Обычное дело.
Мать пролетела — жизнь пролетела.

Прощай, прощай! Кружись над краем плачущим.
Лишь ветви елей, воздух уколов,
поднимут указательные пальчики
спадающих широких рукавов.

1983

* * *

Иду я росой предпокосной
словить электричку скорей.
Паслен и кукушкины слезы
обплачут меня до колен.

И долго еще эти травы,
темнея каймою внизу,
как будто по матери траур,
на брючинах серых ношу.

1983

РОК

Рок надо мною. Куда меня гоните?
По раскладушкам мечусь, как изгой.
Горе как погреб в любой раскрывается
комнате.
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить, как манило.
Что получил я? Счет гробовой.
Под колыбелью раскрылась могила.
Ров подо мною — рок надо мной.

Это расплата космического расклада.
Всем, кого любишь, оказываешься бедой.
Как я любил переделкинские пенаты!
Смыло щепой.

А в небесах ненасытным уроком
воет душа,
что в сердцах самовольно спустила курок.
Рок над семьею, откуда я родом.
И над землей, где семья моя, рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
кроме стихов, что попутно изрек?
Я для народа домашнего был тайным
громоотводом.
Трещит позвоночник. Такой уж рок.
1983

* * *

Просто — наше шоссе и шиповник.
Дождь из облачка невпопад.
Как подошвы чьих-то шиповок,
лужи гвоздиками торчат.

Я всему говорю спасибо —
непосильного счастья боль,
непосильное небо синее,
непосильна земная соль.
1983

РЯБИНА В ПАРИЖЕ

Скоро сорок шестая година,
как вы ездили с речью в Париж.
Пастернаковская рябина,
над всемирной могилой горишь.

Поезд шел по Варшавам, Берлинам.
Обернулась Марина назад.

«Россия моя, лучина...»
А могла бы рябиной назвать.

Ваша речь не спасла от лавины.
Впрочем, это еще вопрос.
Приумороженную рябину
я по ягодке каждому вез.

И когда по своим лабиринтам
разбредемся в разрозненный быт,
переделкинская рябина
нас, как бусы, соединит.

1982

* * *

Ах, летучая бусинка боли,
сверху листиком оснащена.
Золотые, как будто бемоли,
сыплет осень на нас семена.

Они впились в твой шарф полосатый,
зацепились в твоих волосах.
Тебя сделали Музою сада.
Я не знаю, в каких ты садах.

1982

РЕДКИЕ КРАЖИ

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершен налет.
Дали кляп шоферу —
чтоб не декламировал.
Драгоценным рифмам настает черед.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кареты перетряхивали
за стихов тетрадки.
Масскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать —
придет в пурпурном подводном шлеме Дант.
У бандитов тоже есть дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого
какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане,
давайте воровать и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!
Он издаст трагичную
„Избранную лирику".
Мы ее своруем и боданем».

Одному поэту проломили череп,
вытащили песни лесных полян,
и его застенчивый щегловый щебет
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой сам продал
голос свой таранный.
Он теперь без голоса — лишь хлюп из гланд.
Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьезным — Время ждет таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином.
Тьма аквалангистов, но нету Данта.
Кое-кто ворует —
но где Вийон?

Но главное, что время воспеть Лауру!
И кто-то уже бросил
монетку в автомат.
«Пройдемся, — позвонит мне. — Уснули караулы.
Я — Дант».

1982

* * *

Нельзя в ту же реку стать дважды,
Верните коня на скаку.
Когда возвращается жажда,
верните за гриву реку.

Ты вечно, ты вечно другая,
река, возвращенная вспять...
Как в кроле, рука, засыпая,
высвободится опять.

1982

* * *

Тихо-тихо. Слышно точно,
как текут
секунды
дней.
Струйкой тихою песочка
пересыпается
цепочка
на шее дышащей твоей...

1982

* * *

Прошло много ли мало —
снова стон из тумана:
«Разве я понимала?
Разве я понимала?»
Где-то в Тьмутаракани
в номерах у вокзала —
«Я была молодая.
Разве я понимала?»
Непонятная сила,
что казалась романом, —
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»

Самолеты летели,
и менялись составы.
Твое солнце налево.
Мое солнце направо.
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»
Менять шило на мыло —
я тебе не «меняла».
Не вопи ты над нами
темнотой поминальной!
Или это поддатый
голос Бога в тумане?
Я люблю тебя, дура,
моя жизнь золотая.
Разве я понимаю?
Разве я понимаю?

1983

РЕЗИНОВЫЕ

Я ненавижу вас, люди-резины,
вы растяжимы на все режимы.

Улыбкой растягивающейся зевнут,
тебя затягивают, как спрут.

Неуязвим человек-резина,
кулак засасывает трясина.

Редактор резиновый трусит текста,
в нем вязнет автор, как в толще теста.

Я знаю резиновый кабинет,
где «да» растягивается в «да не-ет...».

Мне жаль тебя, человек-эластик.
Прожил — и пусто, как после ластика.

Ты столько вытер идей и страсти,
а был ведь живой, был азартом счастлив...

Взгляни, как рядом жмут желваки
инициативные мужики!

Ты ж трусишь, раздувшись поверх рейтуз, —
пиковый, для всех несчастливый рай-туз...

1984

РИМСКИЙ ПЛЯЖ

По пляжу пиджачно-серый
идет отставной сенатор.
За ним сестра милосердия носит дезодоратор.
И Понтом Аквинским смыло
в путевочном море толп
заискивающую ухмылку и лоб,
похожий на боб.
«Сик транзит глориа мунди».
Народ вас лишил мандата.
Где ваши, сенатор, люди?
Исчезли, урвав караты.
Склерозная мысль забыла
приветственные раскаты,
когда вы свою кобылу
вводили под свод сената.
Мы с вами были врагами.
Вы били меня батогами.
Сейчас я по скользкой гальке
подняться вам помогаю.
И встречу сквозь воды Вечности
спеленутый в полотенца,
становящийся человеческим
замученный взгляд младенца.

1983

ШТИЛЬ

Вторую ночь без всякой дрожи
под круглой красною луной

отвесно врезана дорожка
неумолимою рукой.

Ты говоришь: «То зодчий ада,
чтобы задумалась толпа,
нас тешит планом и фасадом
огненновидного столба».

1982

ТРИ СКРИПКИ

Скрипка в шейку вундеркинда
вгрызлась, будто вурдалак.
Детство высосано. Видно,
жизнь, дитя, не удалась!

Век твой будет регулярным.
Вот тебя на грустный суд,
словно скрипочку в футляре,
в «скорой помощи» везут.

А навстречу вам, гуляя,
вслушиваясь в тайный плод,
тоже скрипочкой в футляре
будущая мать идет.

1982

ЛАСТОЧКИ

На май обрушились метели.
Проснулся — ласточек полно.
Две горных ласточки влетели
в мое окно. Мое окно
они открыли, леденея, —
небесно-бедственная весть!
Теперь сидят на батарее,
высокомерничают есть,

бесстыдничают в оперенье,
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,
искать жемчужное зерно.
К их клювикам-малокозыркам
явилась третья сквозь окно.
Она, как чьи-то мысли дальние,
часами может замирать.
На лоб оконночный спадает
крыло ненужное, как прядь.

Я только выпустил три тома.
И вот сигнал, что кто-то их
там прочитал в мирах бездонных
и мне отправил три своих.
Чем отдарю я дар твой тихий
и это счастье повидать,
как треугольные плавчихи —
из угла в угол и опять, —
сто верст пытаясь налетать,
перекрестили красотою
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках
как бог Гермес. И все синё!..
Пока они не улетели,
я делал с них фотоэтюд.
Я улетел через неделю.
В квартире ласточки живут.

1984

БЕЗОТЧЕТНОЕ

РЕЧЬ

Смертны камень, и воздух,
и феномен человека.
Только текучий памятник
нельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку, —
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!
Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Таганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начинается жизнь моя и тихий амок.
Мы живем в городе
под названьем Молва.
Сколько в песне
утоплено персиянок!..
«а-а-а»...

С твоим «а» на губах
между нынешними акулами
я проплываю

брассом
твою темную течь.
Дай мне
достоять от полуночи до Аввакума,
Речь!
Родился я в городе,
под которым Неглинка льется.
Я с детства слушал
подземный хор,
где подавал мне реплику суфлер —
из люка
канализационного колодца.

Избегаю понятия «литература»,
но за дар твоей речи
отдал голову с плеч.
Я кому-то придурок,
но почувствовал шкурой,
как двадцатый мой век
на глазах
превращается
в Речь.

Его темное слово,
пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

И ни меч, ни червь
не достанут впадающих в Лету,
тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.
Благодарю, что случился
твоим кратким поэтом,
моя русская Речь!

1980

ПЕРВЫЙ АВТОБУС

К шестичасовому сподобясь,
спиной ощущая страну,
я в загородном автобусе
заутреню отстою.

Автобус дыханьем натопится,
и буду я в угол забит,
когда вся округа в автобусе,
как лошади, стоя спит.

О чем ты забылся, биндюжник,
как кариатид в уголке?
Но сон твой капелью жемчужной
остался на потолке.

На утренних лицах помятых,
как выпуклы книги слепых,
такое я понимаю,
как будто я сам их слепил.

Спи, рыжая, ахнув на рытвинах.
Чей муж тебе снится в пути?
Старуха с глазами открытыми,
еще полчаса тебе, спи.

Что снится торгашке спрессованной,
вздохнувшей, как кодекс почти:
«Имейте, товарищи, совесть!»
Спи, совесть автобуса, спи.

Навеки уже не расстаться
с объявшею жизнью земной,
когда не осталось пространства
меж жизнью чужою и мной.

В тумане буханкою хлеба
автобус ползет, как слепец.
Ломтями пшеничного света
свет окон ложится на лес.

Не видел я спящих царевен,
висящих в хрустальном лесу,
но видел, как спит современница
в автобусе на весу.

Подняв кулачок, как свобода
с картины Делакруа,
сжав поручень над проходом,
спокойно и гневно спала.

Виденья вчерашних загулов
твои утомляли черты.
О чем ты над нами вздохнула?
И большее что-то, чем ты...

Как поднятый лебедь за шею,
на белой ручонке висишь.
И я объяснить не сумею,
какая великая тишь,

какая свобода настала,
похожая на обряд,
когда, чтобы ты не упала,
прижав тебя, жизни стоят.

Не видел я, как ты вышла.
Наверно, проспала, летя.
И вытащил кто-то сквозь крышу
за белую руку тебя.

А тот, кто не встал пред тобою
и места не уступил,
лишился не только свободы —
спасенье души упустил.

1980

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над рисковой пропастью вам пройти нашептывает...
Когда черти с хохотом
вас подвесят за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под занавес.

— Дайте света белого,
дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

1979

НЕДОПИСАННАЯ КРАСАВИЦА

Ф. Абрамову

Где холсты незабудкой отбеливают,
в клубе северного села
дочь шофера записку об Элиоте
подала.

Бровки, выгоревшие, белые,
на задумавшемся лице
были словно намечены мелом
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза — написаны сильно
на холщовом твоем лице —
смесь небесного и трясины —
говорили о красоте.

Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты,
испугался, чего касается,
и бежал твоей красоты.

В тебе что-то от нашей жизни
с непрописанною судьбой,
что нуждается в некоей кисти,
чтоб себя осознать самой.

Телевизорная провинция!
Ты себя еще не нашла.
И какая в тебе предвидится
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,
чьи бревенчатые шатры
нынче сумерничают с да Винчи,
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал как обод,
снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть
джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были —
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,
подпирающая косяк,
и стояла в ней боль пронзительная —
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, блеяло.
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

1979

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейными —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха черного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому мое невезение,
в патлах, по стенке.

Ну полетала бы, что ли, на венике,
вытаращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

1979

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, убереги его в пути.
1979

ТРУБАДУРЫ И БЮРГЕРЫ

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были — трупы, мы были — трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были — трусы, мы были — трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мертвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство — ваше. Но время — наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубах,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

1981

СОБАКА

Р. Паулсу

Каждый вечер въезжала машина,
тормозила у гаража.
Под колеса бросалась псина,
от восторга визжа.

И мужчина, источник света,
пах бензином и лаской рук.
И машина — друг человека,
и собака, конечно, друг.

Как любила она машину!
Как сияли твои глаза!
Как твою золотую спину
озаряло у гаража!

Но вторую уже неделю
не въезжает во двор мотор.
Лишь собачьи глаза глядели,
изнывая, через забор.

Свет знакомый по трассе несся.
И собака что было сил
с визгом бросилась под колеса,
но шофер не притормозил.

1979

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе.
Меньшого потеряли брата —
всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого,
осталось племя в «леви-страус»,
от Черного и до Охотского
страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дерном
растет толпа вечноживая.
Ты так хотел, чтоб не актером —
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского
землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Все, что осталось от Высоцкого,
магнитофонной расфасовкою
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,
любовь российская и рана.
Ты в черной рамке не уместишься.
Тесны тебе людские рамки.

С какою страшной перегрузкой
ты пел Хлопушу и Шекспира —
ты говорил о нашем, русском,
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами
в бумагах тленных и мелованных.
Певцы останутся певцами
в народном вздохе миллионном...

1980

* * *

Наверно, ты скоро забудешь,
что жил ты на краткой земле.
Историю не разбудит
оборванный крик шансонье.

Несут тебе свечки по хляби.
И дождик их тушит, стуча,
на каждую свечку — по капле,
на каждую каплю — свеча.

1980

УСТЬЕ

1

Где я последние дни ни присутствую,
по захолустьям жизни забитой —
будто находишься в устье предчувствий,
переходящем в море событий.

Все, что оплакал, сбывается бедственно.
Ночью привидится с другом разлука.
Чувство имеет обратное действие.
Утром приедешь — нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.
О, не летайте тем самолетом!
Будто сначала пишется реквием,
а уж потом все идет как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.
Думать опасно.
Только подумаю, что ты порежешься, —
боже! — вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.
Самая мысль вызывает крушенье.

Только не думайте перед вылетом!
Не сомневайтесь в друге душевном!

Не сомневайтесь, не сомневайтесь
в самой последней собаке на свете.
Чувством верните ее из невнятиц —
чтоб не увидеть ногтей синеватых —
верьте...

2

Шел я вдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,
время стемнело. Слышались листья:
«Мы — мысли!»
Пар подымался с притоков речушки:
«Мы — чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
Степь начиналась. Идти стало трудно.
Суслик выглядывал перископом
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море —
как повторенье гравюры забытой —
фантасмагория на любителя! —
волны людей были гроздьями горя,
в хоре утопших, утопий и мора
город порхал электрической молью,
трупы истории, как от слабительного,
смыло простором любви и укора.
Море моею питалось рекою.
Чувство предшествовало событью.

Круглое море на реку надето,
будто на ствол крона шумного лета,
или на руку боксера перчатка,
или на флейту Моцарт печальный,
или на душу тела личина, —
чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,
в устье предчувствий —
там, где речная сольется с мирскою,
выпей из устья!

Видишь, монетки в небе мигают.
Звезды зовутся.
Эти монетки бросил Гагарин,
чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?
Или замкнулся с душой мировою?
Что за собачья эта кручина —
чуять, вернее, являться причиной?..
И окружающим мука со мною.

1980

РАЗМОЛВКА

Это ни на что не похоже!
Ты топчешь сапожками пальто.
Ты не похожа на бешеную кошку.
Ты не похожа ни на что.

Твоя нежность не похожа на нежность.
Ты швыряешь чашки на пол, на стол.
Ты не похожа на безрукую Венеру.
Ты не похожа ни на что!

За это без укоризны
и несмотря на то,
зову тебя своей жизнью.
Все не похоже ни на что.

Брат не похож на брата,
боль не похожа на боль.
Час отличается от часа.
Он отличается тобой.

Море ни на что не похоже.
Дождь не похож на решето.

Ты все продолжаешь? Боже!
Ты не похожа ни на что.

Ни на что не похожа тишина свободы.
Вода не похожа на горячую кожу щек.
Полотенце не похоже
на стекающую
со щек воду.
И совсем не похож на неволю
накинутый на дверь крючок.

1980

* * *

Ты живешь до конца откровенно.
И от наших запутанных дней
два стежка проступили над веной,
слава богу, над ней.

И чем больше рука загорает
и откинется в счастье рука,
все яснее на ней проступают
два спокойных и скользких шнурка.

1980

ИМЕНА

Да какой же ты русский,
раз не любишь стихи?!
Тебе люди — гнилушки,
а они — светляки.

Да какой же ты узкий,
если сердцем не брат
каждой песне нерусской,
где глаголы болят...

Неужели с пеленок
не бывал ты влюблен

в родословный рифмовник
отчеств после имен?

Словно вздох миллионный
повенчал имена:
Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь
из имен времена,
словно вызовешь Китеж
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой
позовет из окна
колокольно-нездешне:
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы
вслух слагала родня,
словно жемчуг семейный
завещав в имена.

Что за музыка стона
отразила судьбу
и семью, и историю
вывозить на горбу?

Словно в анестезии
от хрустального сна
имя — Анастасия
Александровна...

1979

КРИТИКУ

Не верю я в твое
чувство к родному дому.
Нельзя любить свое
из ненависти к чужому.

1979

* * *

Я так считаю. А кто не смыслит —
ходи в читальню.
Есть у поэзии и эта миссия,
я так считаю.

1979

МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печеных,
а утром пробегу —
монахинею моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанции.
Желание растет.
Как море ни имеешь — его все недостаточно.
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским
серебряноголовые — как кулачок под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросаешься под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь, вернувшись в города:
«Кого любила? Море...»
И все ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980

МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над черною астрой с прическою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нес ее, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твое в мокром батисте.
Отдай мне свое естество откровенно,
освободись же, освободись же

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поступок свободы и воды заботы,

в колечках прически вода западает,
как в черных оправах напрасные линзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа,
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклоненная шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979

ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА

Лягу навзничь — или это нервы?
От земного сильного огня
тень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая черная береза!
Видно, в Новой Англии росла.
И ее излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Иерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.

В черную березовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил — и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестер...»
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растет.
1979

* * *

У края поля, в непроглядном веке
ты прислонилась к темному стволу,
как белая струна натянута на деку.
Ты чувствуешь, что рядом я стою.

Я не стреножил жизнь твою и волю,
у алтаря не брал руки твоей.

Нас обручило дышащее поле
и твой алтарь дыхательных путей.

Не станет нас. Ты белое относишь.
Относишь жизнь упругую и стать.
Но ты была струной горячего озноба.
Над полем будешь продолжать дрожать.
1981

БАЛЛАДА

Я сегодня приду
и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу,
твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — без помех».

Отключится вода,
и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать
будут воздух хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты
заскользит, словно шрам,
след резинки над животом.
Я увижу, что ты —
пополам, пополам —
в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям —
гости все пополам
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем
мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» —
ты ответишь под смех.
Современники дискотек
будут в пол нам стучать
и напомнят опять,
что бессмертен XX век.

1980

РАМА

* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нес бы пустую раму.

И вызывали б слезы,
и попадали б в раму
то святая береза,
то реки панорама.

Вбежала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела б святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на нее, плакала бы.

1980

ДОЗОРНЫЙ ПЕРЕД ПОЛЕМ КУЛИКОВЫМ

Один в поле воин.
Раз нету второго,
не вижу причины откладывать бой.
Единственной жизнью
прикрыта дорога.

Единственной спичкой гремит коробок.
Один в поле воин. Один в небе Бог.

Вас нет со мной рядом,
дозорных отряда.
Убиты. Отправились в вечный покой.
Две звездочки сверху
поставите свечкой
тому, кто остался доигрывать бой.

Дай смерти и воли,
волшебное поле.
Я в арифметике не силен.
Не красть вам Россию,
блатные батыи.
И имя вам — свора, а не легион.

И слева и справа
удары оравы.
Я был одинок среди стужи ночной.
Удары ретивы —
теплей в коллективе!
И нет перспективы мне выиграть бой.

Нет Сергия Радонежского с тобою.
Грехи отпустить
и тоску остудить.
Один в поле воин, но если есть поле —
то, значит, вас двое
и ты не один.

Так русский писатель — полтыщи лет после
всей грязи назло —
попросит развеять его в чистом поле
за то, что его в сорок первом спасло.

За мною останется поле великое
и тысячелетья побед и невзгод.
Счастливым моим, перерезанным криком
зову тебя, поле!
Поле придет.

1980

САЙГАК

В. Орлову

Ему хотелось воли и заката.
Его машиной гнали, как скоты.
По загнанному профилю сайгака
увидел я прекрасные черты.

Лежал поэт, как страшная загадка,
столетье от которой не уйдешь.
По загнанному профилю сайгака
прошла любви и отвращенья дрожь.

Не поминайте его имя всуе.
Меж ваших зачумленных жемчугов
бензин я чую, вижу степь пустую,
и бег, и горизонт без берегов.

1979

У МОРЯ

Ты вышла на берег и села со мною,
спиною шурша.
Когда ж на плечах твоих высохло море,
из моря ты вышла — и в море ушла.

С тобой я проплыл, проводив до предела,
как встарь — до угла.
Примеривши море на длинное тело,
из моря ты вышла — и в море ушла.

Я помню, как после купания долгого
в опавших подушечках пальцы твои
опять расправлялись упругими дольками,
от солнца наполнившись и любви...

Потом облака золотели от зноя.
И сонное солнце в Элладу ушло.

И лебедю Леда, поправив рукою,
сунет голову под крыло.

Тебя потеряли дозорные вышки.
Вода погремушкой застряла в ушах.
Ко мне обернулись зеленые вспышки —
из моря ты вышла — и в море ушла.

1979

ВОДЯНЫЕ

Р. Щедрину

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямляют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Аничковом мосту.

Одиночество! —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы —
мы животные цивилизации.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички.
Мы — животные.

И змеиному телу подруги,
приподнявшейся на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накренившимся вдалеке.

Тренированные на водных,
на земных,

мы осваиваемся свободно
на воздушных и на иных.

Человекообразные други
нас облают в этой связи.
Человекообразные духи
нам указывают стези.

Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны.

Где каким-то чудом сохранны,
запрокинутые назад,
ухватясь за твои телеграммы,
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу
взмоет вовремя —
что ей в это мгновенье вспомнится?
Лыжи вольные!

1981

ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ

Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь, как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия — та же материя.
Ладошка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живою тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрещенные лыжи.

Мое преступленье ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?
1981

* * *

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но зато какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи — как ты ни поступи, —
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за «искусство для искусства»!
1980

ГРУЗИНСКИЕ ХРАМЫ

На что похожа заточимая
во Мцхете острая душа?
На карандашную точилку
для божьего карандаша.

Те наконечники-верхушки
вздымались, головы кружа.
И реки уносили стружки
нездешнего карандаша.

Не тот ли карандаш всевышний
чертой отметил дорогой
след самолета, ветку вишни
и рукописный городок?

Какою любящею линией
очерчен поднебесный сад,
где ночью распускалась лилия —
как в стойке делала шпагат?

На радость это или гибель?
Бог это или просто так?
Но краска стертая и грифель
внутри остались на стенах.

И мне от Грузии не надо
иных наград, чем эта блажь, —
чтоб заточала с небом рядом
и заточила карандаш.

1980

* * *

Когда звоню из городов далеких —
Господь меня простит, да совесть не простит, —
я к трубке припаду — услышу хрипы в легких,
за горло схватит стыд.

На цыпочках живешь. На цыпочках болеешь,
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.
И черный потолок прессует, как Малевич,
и некому воды подать.

Токую, как глухарь, по городам торгую,
толкуют пошляки.
Ударят по щеке — подставила другую.
Да третьей нет щеки.

1977

* * *

Проходишь ты без попутчика,
подняв воротник двубортный,
как клочок неба в тучах
обиженно-голубого.

Ты не попала в раму.
Только вздохнешь глубоко.
Скроется за углами
обиженное голубое.

Сдуло тебя ветрами.
Осталась кому угодно
невзятая телеграмма
поспешного голубого.

Обманутая погода!
Плацкарта до Бологого.
Не пойманное позолотой
свободное голубое.

1980

ОКНО

Припади к стеклу — что я делаю? —
совпадение запотелое.

Золотая до обалдения,
запотевшее совпадение.

Совпадение наших судеб,
наших шуток, лесных как Шуберт.

Нос приплюсни в окно потешное,
совпадение запотевшее.

Торопись, моя современница,
горы сдвинутся, царства сменятся,

только это и неподдельное —
запотевшее совпадение.

1980

* * *

Под утро ты придешь назад
в обиженные стеллажи.
Зачем ты, человек, скажи?
Скажи, что нечего сказать!

Попавший человек в грозу
и жизни божью благодать,
что в оправданье я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как объяснюсь в ответ стрижу,
горе, кормящей двух козлят?
На языке каком скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Как предавался мятежу,
что обречен на неуспех?
Как предавался монтажу
слов, что и молвить не успел?

Вот поброжу по бережку
и стану ветерком опять.
Что человеку я скажу?
Скажу, что нечего сказать.

Вот только взглядом провожу
твою безоблачную прядь.
Что на прощание скажу?
Скажу, что нечего сказать.

1979

* * *

Мы все забудем, все с тобой забудем,
когда с аэродрома улетим
из города, где ресторан «Распутин»,
в край, где живет Распутин Валентин.
В углу один, покинутый оравой,
людское одиночество корит.
Завидую тебе, орел двуглавый,
ты можешь сам с собой поговорить.

1977

* * *

Я шел асфальтом. Серый день.
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень,
от жизни брошена моей.

Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего,
твой отсвет, в памяти живой,
шел, как с фонариком, за мной.

1979

ЧУВСТВУЮ — СТАЛО БЫТЬ, СУЩЕСТВУЮ

ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.

1977

КОШКА

У женщины кошка пропала,
как если пропало дитя.
С работы она приходя,
все смотрит налево, направо.

Подумаешь, кошка, делов-то!
В дому нелюдимая мгла.
Ждала, за подругу была.
Кому-нибудь скажешь — неловко.

Бывало, хозяйка болеет,
а кошка — у ней на груди.
Из лап кренделек впереди.
В ночи ее грудка белеет.

Хорошим была домочадцем.
И надо привыкнуть и жить.
Попробовать свет не тушить,
чтоб в темень не возвращаться.

Сейчас она двери запрет,
поставит у двери кошелку.
И, не раздеваясь, ревет —
как будто рыдает о кошке.

1978

* * *

Любовь и горе — вне советов.
Наглеющая верхоглядь,
великих женщин и поэтов
не вам учить или понять!

Когда поэта в гробе мчали,
осталась дома Натали.
Горизонтальная Наталья
летела с ним за край земли.

1980

ДУМАЙТЕ ПОСТУПКАМИ

Не хватает жизни,
чтобы жизнь обдумать.
Вывод афоризма —
головой об тумбу?
Думайте поступками,
думайте разлуками,
дудками пастушьими,
встречами разутыми,
в поезде камышинском
думайте платформами,
станьте злоумышленниками
чудотворными!
Гениальней саженец,
чем идея саженца.
На случайной станции,
побледнев, высаживайтесь.
Помните, события —
это мысли жизни.
Мысль моя забытая,
ты вбежала сызнова.

1978

ЖЕНЩИНА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

(На мотив В. Смита)

Ты все причесываешься в ванной,
все причесываешься.
Все пирамиды, сфинксы все изваяны,
ты все причесываешься,
гусиные вернулись караваны,
Шехерезады выдохлись и Чосеры,
ты все причесываешься.
Ты чешешь свои длинные, медвяные,
окутываешь в золото плечо свое,
с пушком туманным тело абрикосовое,
ты все причесываешься.

Свежайшие батоны стали черствыми,
все розы распустившиеся свянули,
устали толкователи Евангелья,
насытились все властью облеченные,
отмучились на муки обреченные,
повысохли в морях русалки вяленые,
все тайны мирозданья — при чем они?
Ты с Вечностью ведешь соревнование.
Ты все причесываешься.
Четвертый час заждался на диване я,
осточертела поза мне печоринская,
паркет истлел от пепла папиросного,
я ногу отлежал, да и все прочее,
как говорится, положенье «сосовое», —
ты все причесываешься.

Все в ресторанах съедены анчоусы,
спиричуэлсы спеты пугачевские,
накрылось электричек расписание,
чесать пора отсюда, я подчеркиваю,
но ты, как говорится,
не почесываешься,
ты драишь косы щеткою по-черному.
«Под ноль» тебя обрею!
Ноль внимания.
Ты все причесываешься.

Люблю я эту дачу деревянную,
жить бы да жить
и чувствовать отчетливо,
что рядом ты, душа обетованная,
что все причесываешься!..

Под дверью свет твой
прочертился щелкою,
в гребенке электричество пощелкивает.
Эй, берегись! Устроишь замыкание!
Ночной смолою пахнет сруб отесанный.
Я слышу — учащается дыхание.
Чу! Кончила? Шуршит простынка банная.
Нет, все причесываешься.

1978

ТОСКА

Который день на койке латаной,
отвратный самому себе,
лежу ничком, как перекладина
к моей оконченной судьбе.

1979

ЛЫЖНИК

Один на один со Вселенной,
один против ветра и льдин,
конечно, ты вместе со всеми,
и все же — один на один.

Один на один со стихией
и этим непобедим,
частица людей и России,
и все же — один на один.

Металлом обитые лыжи
оставят пустые лыжни,
как шашкой во имя жизни
оставленные ножны.

Откажут и лыжи и тело,
идешь на желанье одном.
Стоять на своем — это смело,
смелее — идти на своем.

За это в арктической точке
на двадцать четвертой «СП»
подснежник морозоустойчивый
подарит полярник тебе.

И с этим народом отборным
поймешь настоящий успех,
полученный в единоборстве,
и все же — со всеми, за всех.

1979

МОРОЗ

От мороза лопнут трубы —
ничего!
Мы пока еще не трупы,
нам с тобою горячо.

Москва вроде Минусинска:
минус 45.
Значит, предстоит разминка,
чтобы кровь полировать.

Я люблю не оттого ли
наш крещенский холодок —
полирует кровь и волю,
как для зайца нужен волк.

Помнишь время молодое?
Мы врывались на пари,
оставляя пол-ладони,
приморoженной к двери.

У мороза звон мажорный.
Принимайте душ моржовый!
Кому холод — лютый,
а кому — валютный.

Не случайно мисс Онассис,
бросив климат ананаса,
ценит наши холода,
молодея навсегда...

Белки, царственно шуруя
по волшебному стволу,
траекторией шурупа
завинтились в синеву!

Помнишь, как они гонялись
в нашу летнюю судьбу,

завивая гениально
цепь златую на дубу?

Хороши круговороты!
Снегом душу ототрем.
Все условья для полета:
минус 40 за бортом.

1979

КВАРТИРА

Кто в квартиру сгоряча
сунул ключ от «москвича»?
Вся квартира затряслась
и, чихая, завелась.
Газ!

Полетела с завыванъем!
Как прицеп — санузел с ванной,
в ванной нежится соседка,
фен засунула в розетку.
Пролетая над народом,
не спускайте в ванной воду!

Увели тебя красиво.
Толпы взрослых и детсад —
все гонялись за квартирой,
но квартиру не достать.

Где летаешь ты, квартира?
В чудесах большого мира,
где порхает меж ветвей
благозвучный Коровей.

Он народы обзирает,
он романсы распевает,
оттого и нелегко
достать птичье молоко.

Что видала ты, квартира?
В облаках летает с лирой
неоклассик, как Пьерро,
в спину всунувши перо.
Перо всунул — полетал,
перо вынул — написал...

Хорошо летать без трассы,
оглашая небо Штраусом,
для квартиры у властей
нет предела скоростей...

А внизу, разинув рот,
дом покинутый орет,
как без ящика комод:

«Кто ж в квартиру сгоряча
ключ сует от „москвича“?
Надо бы от самосвала,
чтоб все зданье полетало».

1979

* * *

Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.

Реквием в двух шагах
с эпиграфом

Пасечник нашего лета
вынет из шумного улья
соты, как будто кассеты
с музыкою июля.

Смилуйся, государыня скрипка,
и не казни красотою
мяты и царского скипетра
перед разлукой такою!

Смилуйся, государыня родина,
выполни самую малость,
пусть под жилыми коробками —
но чтобы людям осталась!

Смилуйся, государыня совесть,
спрячься на грудь мне как страус.
Пой сколько хочешь про Сольвейг,
но чтобы после осталась.

1977

* * *

От Ховрина и до Мехико
под парусом новых халуп
мы верим сегодня в Сантехнику,
как в «Санта-Марию» — Колумб.

— За что тебя, Авель? — За кафель!
Но все это пошлость и чушь,
когда, словно музыка с клавиш,
пошел очищающий душ!

Всплывут над водою зеленой
ног крохотные персты —
как крылышки утомленные
появятся у воды.

Волшебные их отраженья
беспечно напоминали
то в виде пичуги печенье,
то маленькие цимбалы.

Торчат золотей Тициана
два краешка жизни твоей —
по пальцы обрезанных ванной,
натертых на танцах ступней...

Душ брошен и корчится шлангом.
Прошла уже тысяча лет.

А он все зовет ее «ангел»,
Другого названья нет.
1980

ПОЛЮС

Над мировым кружением отчаянным
стою и думу думаю свою.
Мне полюс говорит:
«Пусть все вращаются.
Я постою».
1979

БЕРЕГ

Здесь отпечатки пальцев птичьи
на утренних песках лежат —
как треугольнички девичьи
от испарившихся наяд.
1977

ИЗ ЯКУТСКОГО ДНЕВНИКА

«Что он Гекубе?
Что ему Гекуба?»
Что я якутам?
Что мне якуты?

Но я тоскую по Якутии
с такою краткою травою!
Ее природа внешне скудная,
зато душой не оторвешься.

Как бережно дома якутские
над мерзлотой парят на сваях!

Они прохладой землю кутают,
чтоб, как Снегурка, не оттаяла.

С какой надеждою скворешни
стоят на кладбищах дощато,
чтоб души временно умерших,
настранствовавшись, возвращались.

Здесь время свеже, как из ле́дника.
И в логове оленевода
Данилов мне читает Хлебникова,
понятного без перевода.

1973

ТЮЛЬПАНЫ НА ПОЛЮСЕ

Сюда земной не залетает звук.
Налево — юг, направо — юг,
юг — спереди, и сзади — юг,
и снизу юг глядит, как черный люк.
И, словно воплощенье телепатии,
живые подмосковные тюльпаны
стоят и озираются вокруг.

Есть города — но это все южнее,
есть путь сюда — но это все южнее,
чужие, да и ваши, пораженья,
южнее — жизнь, которая сбылась,
тюльпанным капюшоном голубея.
Наверно, есть красивей и нужнее,
но нет на свете севернее вас.

И нет тебя нежней, московский парень,
который месяц не снимавший лыж,
когда ты эти ломкие тюльпаны
от холода собою заслонишь.

Ты перенес ледовую жестокость,
радировал со льдины при свече.

Наверно, полюс собирает в фокус
все абсолютное в тебе.

Призеры и фанаты горизонта,
в тюльпанных куртках шедшие сюда,
к торосам, озаренно-бирюзовым,
лечите душу синим светом льда!
1979

У КОСТРА

«Будь проклята, вечная мерзлота!»
Кумысный спирт развязал уста.
«Давайте растопимте этот лед.
У вас есть ГРЭС в мильон киловатт.
Природа избавится от мерзлот,
кругом зацветет невозможный сад!» —
«Спасибо, гость, за красивый тост.
Но если растопится вечный лед,
вода в глубины из почв уйдет —
будет пустыня на тыщи верст».
Я выпил тост, я усвоил суть.
Но губы неслушающегося рта
спьяну никак не произнесут:
«Да здравствует вечная мерзлота!»
1978

* * *

Соскучился. Как я соскучился
по сбивчивым твоим рассказам.
Какая наша жизнь лоскутная!
Сбежимся — разбежаться сразу.

В дни, когда мы с тобой разверстаны,
как крестик ставит заключенный,
я над стихами ставлю звездочки —
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...
Они же — попаданий скученность
по нам палящих автоматчиков.
Шмаляют так — что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился
по краю глаза, где смешливо
твой свет проглядывает лучиком
в незагоревшую морщинку.

1979

* * *

Оправдываться — не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймет — что объяснять ему?
Душа ж все знает — что ей объяснять?

1980

* * *

Я помню птиц неутолимой Вечности.
Я помню хруст их клювов и зрачков.
И отлетали ножки от кузнечиков,
как дужки отломившихся очков.

1981

* * *

Соловьиная перспектива!
Словно точку поняв свою,
люди, фары, заборы, ивы
устремляются к соловью.

Я живу в Твоей перспективе,
с Твоим именем на губе.
Все, что в жизни происходило,
перекрещивается в Тебе.

Но как тянет все примитивней
расширяющийся закон,
где обратная перспектива
новгородских вольных икон...

1981

ЯБЛОНЬКА

Тебя стерегут, как яблоню
в период плодоналива.
Старый бердан подлавливает.
Это подло, наивно!

И непонятно разве
подход стерегущим ружьям,
что яблони сами лазают
через забор к ворующим?

1979

В ПОЛЯХ БЕЗОГЛЯДНЫХ

В полях безоглядных — подобье улыбки.
Забытый на грядке
наперсток клубники.

Куда-то ушли и воткнули лопату.
Над нею струится нога, что копала,
и тело, что стало теперь, вероятно,
дрожаньем улыбки в полях
безоглядных.

1979

АФИНОГЕНОВСКИЕ КЛЕНЫ

Вымахали офигенные
клены афиногеновские!

Карей американкой
в Россию завезены.
Лист припадет кофейный,
словно щека мгновенная, —
будто магнитом тянет
Америка
из-под земли.

Клены — они как люди
с мыслящею генетикой.
Сгорела американка
в каюте после войны.
Клены афиногеновские —
потомственная интеллигенция,
поскольку интеллигенцией
усыновлены.

Они шелестят по-нашему
обрусевшими кронами.
Они обрамляют пашню,
бетонку и штабеля.
Крашеная церковь
времен Иоанна Грозного
поет на ветке,
красивая,
размером со снегиря.

Если выходят нервы
из-под повиновения
или строкой повеяло —
подыми
воротник,
выйди от поворота
в клены афиногеновские,
и под уклон дорога
выведет на родник.

Мой кабинет кленовый,
тайна афиногеновская,
где откровенны
поле,

небо —
и что еще?
Христосуются,
позавтракав,
сварщики автогенные,
лист им благоговейно
спланирует на плечо.

В Западном полушарии
роща растет, наверное.
Кронищи родословные
тягою изошли.
Листья к земле припадают,
словно щека мгновенная, —
будто их к детям тянет
Россия
из-под земли.

1979

ИДИЛЛИЯ

Кровь моя пела, в истории странствуя,
полудуховная, полукрестьянская.

Я ли повинен за жизнь неизбежную —
полуполынную, полунебесную?

Вдруг разблокированной генетикой
что-то проснется некабинетное —

под кнутовищем в полях полотняных
вой крепостного инопланетянина!

1979

* * *

Снимите личины, статисты речистые —
пречистого знамени слуги нечистые!

Во имя чего заклинанья «во имя» —
во имя добра с сундуками своими?
Терзают природу во имя науки
пречистого Разума грязные руки.
И мучают слух второгодние школы
Греча, Булгарина и Шишкова.
Очнитесь, взгляните хотя бы на численник,
пречистого Пушкина стражи нечистые...
Да если бы Пушкин, кем нынче божитесь,
явился бы к вам, второгодники-витязи,
кому б он поведал строфу заповедную?
Конечно, не с вами б он был, а с поэтами...

1977

* * *

Я вернусь, когда в город уйдешь,
и уткнусь в твой плащок на ватине.
И пойму, что шел с вечера дождь
и что из дому ты выходила.

Выбегала с крыльца до ворот,
возвращалась понуро к крылечку.
Хорошо, когда любит и ждет,
но от этого только не легче.

1979

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Два берега с мостом понтонным
глядят, как редут на редут.
На левом, заливистом, тонут.
На правом спасатели ждут.

Когда правый берег в подпитии,
кричит он в болотную гладь:
«Топите, топите, топите,
чтоб было кого спасать!»

И эхо лукавою гладью
доносит русалочью прыть:
«Спасайте, спасайте, спасайте,
чтоб было кого топить!»

1979

СПАСАТЕЛЬ

Он, говорят, сидел за человека.
Спасатель он.
Свези меня, спасатель, через реку,
Антихарон.

Когда он возвращается в субботу
с тяжелым дном,
грозит ему из лодки безработный
старик Харон.

Немало душ он перевез оттуда —
темна вода, —
с тех пор как он неверную подругу
отвез туда.

Немало жизней, в форме и гражданских,
взял с глубины,
но женщина не хочет возвращаться
с той стороны,

где прошлого пленительные возгласы,
где колются, где пьют одеколон...
И отвернет свое лицо без возраста
Антихарон.

Подружка-жизнь, красивая дуреха,
маши-маши с ромашковой горы!..
И делает реке татуировку
рой мошкары.

Другой — но от заката ли? неясно —
рой золотой

толчется ореолом неотвязным
над головой.

Он дом завел. Когда свободен, удит.
Дети пошли.
А тепленький когда, угрюмо шутит:
«Утопленники жизнь мою спасли».
1979

ЛОНДОНСКИЙ МОСТ

(На мотив В. Смита)

О соблазне пели люди, о соблазне...
Образ Банко отпечатала вода.
Упаси нас от слепой водобоязни,
крест моста!

О спасенье пели люди, о спасенье...
Дышат ребра, словно бочек обода.
Как неверье, обступает нас по шею
та вода.

«Совладайте, — пели люди, — совладайте...»
Смерть из жизни побрела на водопой.
Мне открылась перспектива благодати
над водой.

Воду темную мы пьем как голубую.
Гули-гули, моя горлинка-река!
«Аллилуйя, — пели люди, — аллилуйя» —
в честь греха.

Ветер скверны задувал мою лампаду.
Лес бирнамский проступал через погост.
И в туманы падал, падал, падал
Лондонский мост.
1977

* * *

Пусть на суше взывает доблестно
неплавающий народ,
безымянное мужество совести
к утопающему плывет.

Пусть молва потом обознается.
Ты, кто спас, уплыл под шумок.
Пускай помощь твоя безымянная,
не себе — человеку помог.

Ты потом его в городе встретишь.
И, спасенную руку пожав,
«Бог помог!» — ты шутливо ответишь.
И окажешься прав.

1979

НИКОГДА

(На мотив В. Смита)

Я тебя разлюблю и забуду,
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду,
голубые, как яйца дрозда.

Когда мышь прокричит «кукареку».
Когда дом постоит на трубе,
когда съест колбаса человека
и когда я женюсь на тебе.

1978

ПРОЩАНИЕ С ВЕНЕЦИЕЙ

Вода в бензиновых разводах,
венецианские потемки
и арок стрельчатые своды

сродни гусиным перепонкам.
Я не разгадывал кроссворды.

Дорога до аэродрома
в моторной лодке проходила.
Во всем тревожило огромно
наличье этой третьей силы.
Чей труп распухший под паромом?

Кого убила ты, Венеция?
В свиданье с другом через годы,
во всем — свинцовое неведенье
воды и гибельной свободы.
Какое вечное невечное!

Ступни гусиные показывая
пред прибывающей водою, —
Венеция? —
Царица Савская —
поддергиваешь подолы.
1976

* * *

Когда всегда передо мной
прикидываешься беспечной,
я думаю, какой ценой
твой свет всегдашний обеспечен.
Мы были счастливы в воде,
где нету городской полыни,
где ты естественна и где
твои красивые заплывы.

Как трудно быть тебе земной,
казаться из земного теста
весною, летом и зимой
и только месяц быть естественной.
Ах, скука, скука, скукота,
где город и бензином морят,

ах, суша, суша, сухота —
а ты для Бога и для моря.
1978

* * *

Как хорошо найти
цветы «ни от кого»!
Всю ночь с тобой на «ты»
фиалок алкоголь.

Ничьи леса и гать
вздохнули далеко.
Как сладостно слагать
стихи ни для кого!
1977

ЦВЕТЫ НА СТВОЛЕ

Как я всегда жалею
эти цветы без веток —
ствол обхватив за шею,
чтоб не сорвало ветром!

Эти цветы-ошейники
так и не разовьются.
Есть в них черты отшельников
даже средь многолюдства.

Есть в них укор внимательный,
детская, что ли, старость?
Смерть — преступленье матери,
если дитя осталось.

Что ты, дитя приюта?
Выплакалась, не надо...
Матери — иуды.
Тернии интернатов.
1977

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМНОМ ПРИТЯЖЕНИИ

Скоропортящиеся поэты!
Успейте сказать, пока помните это.
Рисуйте, художники, денно и нощно,
руки напряженье под ноющей тяжестью ноши.

Снимайте, киношники, нощно и денно
паденье плодов в измерении том,
где, тяготы уравновесив, младенец
оттягивал чаши
земных полновесных мадонн.

Спешите вдыхать дефицит кислорода!
Листву в целлофан человек обернет
и будет, как из персональной коровы,
из липки под вечер доить кислород.

Как им тяжело в невесомой свободе!
Счастливчик чугунную гирю найдет, точно грех.
В ней будет запаян последний глоток
кислорода.
Он вскроет и выпьет ее, как орех.

И он ощутит позабытую сладкую тяжесть,
как ноша ягненка вздымает орла.
Он женщине про беспокойство расскажет.
И женщина скажет ему:
«Тяжела».

1977

* * *

Твои волосы — долгие, на удивление.
Ты еще не подруга, но уже не сестра.
Дай мне
три километра
твоего волшебного времени —
от Арбата и до двух утра.

Ты причислена к клубу лучших женщин
планеты.
Все в жизни сдвинулось.
Границ нет.
Меж наших плечей сияют просветы —
от сантиметра до тысячи лет.

Твоя серая кепочка — как жареный фисташек,
где чуть-чуть расщеплена,
как клювик,
скорлупа...
Как щебечет жизнь твоя на дистанции
от Данте до Киевского моста!

1980

* * *

Когда ты забираешь наверх под кепку волосы, —
как подтыкают юбку, когда моют пол, —
с какой незащищенною незагорелой вольностью
восходит твоя шея к камеям римских школ!

И все, что я успею, — запомнить эту шею
и завиток щекотный и поблагодарить
за то, что жизнь прекрасна и рядом на скамейке
московская камея в кепарике парит!

1980

* * *

Зашторены закаты,
а может, день за кадром,
иное время мира?
За что ты мне такая,
с бескрайними ногами —
отсюда до Таймыра?

Наполнены стаканы,
осушены стаканы,
и подняты стаканы.

За что? За наши тайны.
За то, что загадали.
За что ты мне такая?

За что я потакаю
твоим дурацким выходкам?
Тебя бы батогами...
На людях — таратайка,
а рядом — тише выдоха,
за что ты мне такая?

Чуть проступают позвонки,
как снегом скрытая дорога.
Не «напиши», не «позвони» —
побудь такою, ради бога...

Когда с тобою говорим,
во рту — как мятная истома.
Я — гений, если я достоин
назвать тебя и быть твоим.

1979

НЕДОУМЕНИЕ

Я встретился с Недоуменьем.
Недоумение звали странно.
Предъявила как документы
длинноногие свои данные.

Недоуменною медуницей
пахли глаза твои после экзамена.
Ты потерялась в толпе Москвы,
в грохоте нашей цивилизации,
словно волшебная спица вязальная —
недоуменная тихая спица
с кроткою бусинкой головы.

Длинноногое недоуменье,
как ты связала тихою спицей

дни и дела!
Пел переделкинский филумела.
Громкие музы над нами шумели.
Я обожаю женские спичи.
Муза безмолвная рядом прошла.

Втискивал в щели монеты негнутые
я в автоматы райцентров и стран,
недоуменно пил трехминутный
твоего голоса тихий стакан.

Недоумение от свершившегося,
недоуменье от предстоящего,
но доминировало недоуменье —
как же мы жили все это время?

Как мы жили без недоуменья?
В мире, спрессованном, как пельмени,
меж монументов добра и зла?

Каждое утро, как умываюсь,
что тебя не было — недоумеваю,
недоумеваю, что ты была.

А именины недоуменья,
когда завтрашнюю газету
я приносил тебе, разбудя,
и расстилал простыней непочатою,
и на плече твоем отпечаталась
лучшая строчка моя про тебя?!

Это такая печати свобода,
живые стихи.
Всюду небесным громоотводом
бродишь со мной, отпуская грехи, —
так в непогоду луч удлиненный,
зябкий, ошибшийся, удивленный,
ступит на землю, прорвавши верхи.

Есть в тебе что-то от тихого омута,
сонной русалки, прописанной в комнате,

есть в тебе помесь кельи и Клее
и неприкаянного поколенья.
Видел я сам, как влетаешь ты в форточку,
узкие бедра надраив фосфором.

Если размолвка набрякнет над домом,
просишь ты, лобик наморщив в резьбу,
с мукой какой-то недоуменной:
«Можно, я чашки сейчас разобью?»

Бей, молодчага, все, что имеем,
дочь моих строчек, свобода и Русь!..
Вечно встречаюсь с недоуменьем.
С недоумением расстаюсь.

Как я расстался с Недоуменьем?

Это еще не случилось — случится.
Стану счастливым, стану надменным,
но это буду не я, а вы
вряд ли узнаете визуально
женщину эту, взглянувшую с пирса,
будто блеснувшая спица вязальная, —
недоуменная божья спица
с кроткою бусинкой головы.

1981

Я ПЕЛ ХОРАЛЫ И ХИТЫ

РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «„ЮНОНА“ И „АВОСЬ“»

Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.
Белую ветку юный любовник
графской жене принес.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.
Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.
Только известно — графский садовник
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?
Выстрел раздался вдруг.
Красный от крови — красный шиповник
выпал из мертвых рук.

Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.
Как тебя звали, юноша милый?
Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.
Белый шиповник, дикий шиповник
в память любви цветет.

1977

ПЕСНЯ

Милый моряк, мой супруг незаконный!
Я умоляю тебя и кляну —
сколько угодно целуй незнакомок.
Всех полюби. Но не надо одну.

Это несется в моих телеграммах,
стоном пронзит за страною страну.
Сколько угодно гости в этих странах.
Все полюби. Но не надо одну.

Милый моряк, нагуляешься — свистни.
В сладком плену или идя ко дну,
сколько угодно шути своей жизнью!
Не погуби только нашу — одну.

1978

МАТРОСЫ

В море соли и так до черта,
морю не надо слез.
Наша вера верней расчета,
нас вывозит «Авось»!

Вместо флейты подымем флягу,
чтобы смелей жилось
под небесным Андреевским флагом
и девизом «Авось!».

Нас мало, и нас все меньше,
и парус пробит насквозь,
но сердца забывчивых женщин
не забудут, авось!

Буря — это всего лишь буря,
глупо в ней ждать конца.
Пуля — дура, конечно, дура,
но умней мудреца.

От нагрузки на наши плечи
гнется земная ось,
только наш позвоночник
крепче —
не согнемся, авось!

У русалки солены губы
и вместо ножек — хвост.
Сэкономим на паре туфель.
Не погибнем, авось...

Но от нашей надежды, свойской
сетям пустых судеб,
через век назовут авоськой
сумку, где носят хлеб.
1977

ПРЕДСМЕРТНАЯ ПЕСНЬ РЕЗАНОВА

Я умираю от простой хворобы
на полдороге,
на полдороге к истине и чуду,
на полдороге, победив почти,
с престолами шутил,
а умер от простуды,
прости,

мы рано родились,
желая невозможного,
но лучшие из нас
срывались с полпути,
мы — дети полдорог,
нам имя — полдорожье,
прости.

Родилось рано наше поколенье —
чужда чужбина нам и скучен дом.

Расформированное поколенье,
мы в одиночку к истине бредем.
Российская империя — тюрьма,
но за границей та же кутерьма.
Увы, свободы нет ни здесь, ни там.
Куда же плыть? Не знаю, капитан.

Прости, никто из нас
дороги не осилил,
да и была ль она,
дорога, впереди?
Прости меня, свобода и Россия,
не одолел я
целого пути.

Прости меня, земля, что я тебя покину.
Не высказать всего...
Жар меня мучит, жар.
Не мы повинны,
в том что половинны,
но жаль...

1977

КОНЧИТТА

Десять лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.
Хорошо ли приладил седло?
Чтоб в пути тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Двадцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло.
Чтоб в бою тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Тридцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.

У меня отрастает крыло!
Без меня чтобы было светло,
я оставила свечку в окне.

1977

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
для чего мы на землю попали, —
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя их будущим детям.
Наша жизнь пронесется аллюром.
Мы проклятым вопросам ответим:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Я люблю твои руки и речи,
с твоих ног я усталость разую.
В море общем сливаются реки.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Гудзону и Волге!
Государства любовь образует.
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя свирепому нересту!
Аллилуйя бобрам алеутским!
Лишь любовью оправдана ненависть.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Кончитте с Резановым.
Исповедуя веру иную,
мы повторим под занавес заповедь:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя актерам трагедии,
что нам жизнь подарили вторую,
полюбивши нас через столетие.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

1977

ПЕСНЯ КАБАЦКИХ РАЗБОЙНИКОВ

«У меня больная печень —
мне опасно выпивать.
У меня больная совесть —
мне опасно убивать».

«У кого больная совесть,
с тем мы будем выпивать.
У кого больная печень,
тех мы будем убивать».

1979

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Котенок, кутенок, китенок,
в отличие от ребят,
всегда с наступленьем потемок
шагают, плывут и летят.

Кутенок мяукает с мышью.
Котенок по морю плывет.
Китенок летает над крышей
с фонтанчиком, как вертолет.

Да здравствует дружба с пеленок!
Куда запропала тетрадь?
Котенок, кутенок, китенок,
пора научиться писать!

1977

ПЕСНЯ НА «БИС»

Концерт давно окончен,
но песня бесконечна.
Снял звукооператор уставший микрофон.

Я вместо микрофона
спою в бутон тюльпана
на сцене мировой.

Я вам спою еще на «бис» —
не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь.
Но я артист.
Я повторю.

Спасибо за тюльпан,
за то, что пело в нас,
спасибо за туман
твоих опять влюбленных серых глаз.

Я повторю судьбу на «бис».
Нам только раз в земном краю
дарует Бог любовь и жизнь.
Но я не Бог.
Я повторю.

1981

РЕСТОРАН

Я пою в нашем городке
каждый день, в праздной тесноте.
Ты придешь, сядешь в уголке.
Подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,
подберу музыку к лицу,
подберу музыку к словам,
что тебе в жизни не скажу.

Потанцуй под музыку мою.
Все равно, что в жизни суждено, —
под мою ты музыку танцуешь,
все равно...

Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь.
Я тебя взглядом провожу.
За окном будет только дождь.
Подберу музыку к дождю.

В ресторан ходят отдохнуть
и когда все не по нутру.
Подберу сходу что-нибудь,
как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.
Но всегда музыка одна.
Если я в жизни упаду,
подберет музыка меня.

1977

РЕГТАЙМ

Барабан был плох,
барабанщик — бог.

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый
и умеет плавать, как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапер.

Черный клавиш — белый клавиш.
Все, что было, не поправишь.
Он еще не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро» —
современной музыки девиз.

Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.

Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.
У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»
и летайте ночи напролет.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций.
С ним в оркестре гонщица поет.

1983

НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Родился мальчик в самолете.
Застыли в небе два крыла.
Его в притихнувшем салоне
бортпроводница приняла.

Пусть ему в метрике заполнят:
«Место рожденья — небеса».
Необъяснимое запомнят
его небесные глаза.

Он будет инженер-нефтяник.
Он будет жен земных менять —
все что-то тянет, тянет, тянет,
как будто наклонилась мать.

Он выбежит на крышу к небу,
забыв успех, семью, уют,
и наберет в ладони снегу,
как письма из дому берут.

1976

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТОФОН

Каждым утром рано
у своих ворот
местный Челентано
песенку поет.
У него нет денег
на магнитофон.
Сам, как фонотека,
полон песен он.
Девушка в «бананах»
по мостам ночным,
как с магнитофоном,
ходит вместе с ним.
Он поет ей «Спейсов»
сорок раз на дню.
Но однажды песню
он споет свою —
о своей тропинке,
где в тоске своей,
как лесной Есенин,
свищет соловей!

1983

МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров —
и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.

Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен —
и всерьез! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром ты встанешь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь ее поезд увез.
Но в ее жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенес.
Но в его жизни была
целая площадь из роз...

1982

НЕ ОТРЕКУСЬ

* * *

Не понимать стихи — не грех.
«Еще бы, — говорю, — еще бы...»
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.

Чтоб стала достояньем всех
гробница, опустев без тела,
как раковина иль орех, —
лишь посвященному гудела.

1977

* * *

В пору, когда зацветает акация —
желтых измен семена неблагие, —
сердце сжимается, как от локации.
Это душевная аллергия.

В пору, когда отцветает провинция
белой пыльцой под строительной гирей,
я одобряю прораба провиденья,
но у меня на него аллергия.

Речи ли в клубе эрзацные слушаю,
или брожу почерневшею чащею,
или с холма загляжусь на цветущую
наших полей перспективу щемящую, —
будто вдыхаю на косогоре
чьему-то ребенку грозящее горе.

Олигофрены цветут на плантациях.
В воздухе носятся мысли такие,
что, если бы воздухом этим питаться,
была бы у ангелов аллергия.

В пору, когда отцветает религия,
свадьбы летят — одуванчики Пасхи.
Религиозная аллергия
с платья трилистничком осыпается...

Не отцветай, моя тайная Муза!
Так же врасплох, как и в пору Вергилия,
ты прибегаешь, целебно-дремуча!
Это предчувствует аллергия.

1977

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ

— Вот квартирка поэта. Вот перо на ампирном бюро...
— А что такое «перо»?
— Им водили рукою Державин, Матфей и Лука...
— А что такое «рука»?
— Это род рычага,
превращающий идею в созданье, высекающий на века:
«Человек — это смысл мирозданья».
«Человек будет славен вовек».
— Как вы выразились? «Человек»?

1977

К БАРЬЕРУ!

(На мотив Ш. Нишнианидзе)

Когда дурак кудахчет над талантом
и торжествуют рыцари карьеры —
во мне взывает совесть секундантом:
к барьеру!

Фальшивые на ваших ризах перлы.
Ложь забурела, но не околела.
Эй, становитесь! Мой выстрел — первый!
К барьеру!

Бездарность славословит на собранье,
но я не отвечаю лицемеру,
я пулю заряжаю вместо брани —
к барьеру!

Отвратны ваши лживые молебны.
Художники — в нас меткость глазомера —
становимся к трибуне и к мольберту —
к барьеру!

Строка моя, заряженная ритмом,
не надо нам лаврового венца.
Зато в свинцовом типографском шрифте
мне нравится присутствие свинца...

Но как внезапно сердце заболело
и как порой бывает не под силу —
когда за гранью смертного барьера
жизнь пахнет темнотой и апельсином...

1980

ЧАРЫ ЧАПЛИНА

Как жужжали по-над миром
усики под котелком —
точно шмель, неуловимый
черным мчащимся сачком.

Эта жалящая музыка
над облавами земель,
нападающие усики
беззащитностью своей!

Хохот слезы утирает.
Убирают реквизит.
Шмель эпохи умирает,
кверху лапками лежит.

Воры с телом удирают.
Вечно музыка звенит.
1978

* * *

За тобою прожженные годы,
за тобой осквернённый словарь,
я с тебя, как срывают погоны,
свои четверостишья сорвал.

Я лишаю тебя гражданства,
и, как серьги, — толкая взашей, —
все слова, что ты мной награждалась,
вырву с мочками из ушей!

Я сдираю с тебя песнопенья.
Убирайся, какая пришла!
Как пропаща ты безнадежно.
Как по-прежнему хороша.
1977

* * *

Распрямились года, как вода.
От жемчужного сна озорного
не осталось в душе и следа.
Но осталась заноза.

Нож возьму, не ропща, не мудря.
Соперировать — экая малость!
Чисто вырезал — до нутра.
Аж наружу зияет дыра.
Но заноза осталась.
1974

КРЕДО

Иду на Человек с головою песьей,
иду на Зверь с человечьей спесью,
иду на Вор с соловьиной песнью.

«Иду на Вы» — этот клик опробовали
все от Святослава до Роберта.
Иные битвы — иные опыты.

Но я иду, темнотой изрезан,
чтобы услышать из темноты
пропащий отзыв из чащи леса:
«Иду на Ты!»

Мы все родились искать ответа,
«на ты» нам — чаща, «на ты» — цветы.
«Иду на Вы» — это щит поэта,
а смысл поэта — идти «на ты»!

Иду на Ты, человече дивный,
в снегу целую твои следы.
Неразумеющие, идите вы...
Иду на Ты!

1973

* * *

Нас посещает в срок —
уже не отшучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела,
Идет какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень —

спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть
ведет болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть
под графоманство чувств.
1977

БЕАТРИЧЕ

Одергивая юбку на ногах,
ты где-то бродишь в разных городах,
на цыпочках по сцене мировой,
мой дух, как гусь, бежит вслед за тобой.
1979

ТЫ ЧУДО ВСЯ – ДАЖЕ ПУСТЯК ТАКОЙ!

Возьми на палец божию коровку.
Она щекочет палец золотой —
по дактилоскопическим бороздкам
головка с музыкальною иглой!
На всем печать мелодии короткой...
И небо ожидает над тобой.
1979

* * *

Когда устали в небесах скитаться
и ноги от полета затекли,
нас принял, согласившийся по рации,
аэродром негаданной земли.

И, приближаясь к нам из благодати,
указывая круг, где надо сесть,

сигнальщик, как ожившее распятье,
махал руками и не мог взлететь.
1972

* * *

Заслышу ль рифму в перелеске —
задумываюсь о тебе.
Мои рифленые рефлексы
остались на твоей тропе.
Я покидал тебя банально,
как и достоин сильный пол, —
«взяв только плащ и гениальность»,
ушел.
Но, к давнему и дорогому
оставив тайные ключи,
когда тебя не будет дома,
один наведаюсь в ночи.
1982

* * *

Мужчины с черными раскрытыми зонтами,
с сухими мыслями и мокрыми задами,
куда несетесь вы бессмысленною ночью
на черных парусах, пираты-одиночки?

Удача ваша, что вам молодость сулила,
прошла, горизонтальная, над вами —
как велосипед сюрреалиста, —
вращаясь спицами под вашими зонтами.
1976

ПИАНИСТКА

Итальянка с миною «Подумаешь!»,
черт нас познакомил или Бог?

Шрамики у пальцев на подушечках
скользкие, как шелковый шнурок...

Детство, обмороженное в Альпах,
снегопад, глобальный снегопад...
Той войной надрезанные пальцы
на всемирных клавишах кричат!

Осязаньем знают, осязаньем
в час самоотдачи и любви
через все поп-арты и дизайны
эти сумасшедшие твои!

Вот зачем, измучивши машину,
ты снисходишь до «ста тридцати».
А когда прощаешься с мужчиной,
за спину ладони заведи.

Сквозь его подмышки — горько, робко,
белые, как крылья ангелят,
за спиной огромною Европы
раненые пальчики горят.
1969

* * *

Как белоснежно, как бездонно
благословила нас в порту
двутрубно-белая мадонна
с младенцем-шлюпкой на борту.

Она, склонясь у изголовья,
следила спящие тела,
когда ж, шатаемы любовью,
мы вышли кофе пить на взморье,
она, спокойная, ушла
не шибко, в 32 узла.
1974

НАД ОМУТОМ

Девочка с удочкой, бабушка с удочкой
каждое утро возле запруд —
женщина в прошлом и женщина в будущем —
воду запретную стерегут.

Как полыхают над полем картофельным
две пробегающих женских зари!
Как повторяется девичьим профилем
профиль бабушкин изнутри!

Гнутые удочки, лески капронные
в золоте омута отражены,
словно прозрачные дольки лимонные.
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?
Юбки упруги. В ведрах лещи.
«Бабушка, правда, есть рыба бельдюга?» —
«Дура, тащи!»

Как хороша эта страсть удивившая!
Донная рыба рванет под водой.
И, содрогнув, пробежит по удилищу
рыболовецкий трепет мужской.

1975

* * *

Все конкретней и необычайней
недоступный смысл миропорядка,
что ребенка приобщает к тайне,
взрослого — к отсутствию разгадки.

1975

* * *

Малина и крапива.
Зеленое и розовое,

дурнушка и красивая!
Подружки инородные.
А позади береза
закинута пугливо,
дрожа от ягод розовых —
как ноги от крапивы.

1977

ЕЛКА

Елка упала всеми подолами
в радуге лампочек в доме чужом.
Елка хмельная уставилась с полу,
ноги закинув тесовым крестом.

Утром срубил я тебя, браконьерствуя,
в гулком лесу.
Крякнул короткий топорик армейский.
В дверцы втолкнули тебя на весу.

Что ты наделало, пьяное дерево!
Свет пережгла, не смущаясь ничуть.
«Если хотите, чтоб все — как до этого,
можете дом свой перевернуть».

Что ты наделало, глупое дерево!
Можно ли выдержать в сердце лесном,
что и людскому уму не доверено —
темные смены пьяных времен?

1977

* * *

Взад-вперед походкой челночной,
перед тем как уйду во тьму,
оставляю берег простроченный
и лоскут заката к нему.

1977

* * *

Медновзметенная гора,
которой ужаснулся Пушкин, —
танковый памятник Петра
грозит опущенною пушкой.

1976

* * *

В доме негусто, но пиршество взору.
В рамах шикарная нищета:
свищут скворцы на верхушке березы,
как бубенцы на макушке шута.

1976

НОВОСЕЛЬЕ

Человек несет по свету стол
на спине, как нужно со столами,
будто мебель в небе расставляет.
А когда он выпить отошел,
стол висеть в пространстве оставался.

Ангелы сидели за столом,
завтракали, вниз челом висели.
К ночи он вернулся, утомлен.
Присоединился к новоселью.

У столов, небесных и волшебных,
званые сидят с шести сторон.

1977

ВЕРБА

Прорвавшись сквозь рынки, — весенняя,
вербная, —
звенит деревенская интервенция!

В квартире царит незаконная ветка —
с победой, зеленая интервентка!

И пахнет грозой огуречная кожица,
очищена — тоненькая, как трещница.

И заново верится, и взвинчены женщины,
в умах — интервенция деревенщиков...

Да это же Вербное воскресение!
Обещано счастье в конце третьей серии,

и нас не смущает, что фильм двухсерийный...
Ну, нет — так накупим ташкентской сирени.
1978

ГОСТЬ У КОСТРА

Облупленные морды.
Костер. Ручей.
Мы молоды и голодны,
как сто чертей.
И Лялька, Лялька
в фуфаечке тугой,
курносая, как лайка,
хлопочет над ухой.
Хошь не хошь,
гож не гож —
гость!..
И гость садится к чайнику,
он хмур не по годам,
щетина как лишайник
сползает по щекам:
«...мы поколенье лишнее,
мы маски без лица,
в любви мы знаем лифчики
и никогда — сердца,
стареющие женщины
учили нас любви,

отсюда горечь желчная
и пустота в крови...»
А Лялька, Лялька, Лялька,
ой, сатана,
ему рюкзачной лямкой
по роже — на! на!..
Ах, как она хлестала...
А после, у ольхи,
как она роняла
слезинки в угольки...

1958

РАСПУТИН

(На мотив Ш. Нишнианидзе)

Для любовниц Гришенька, для народа Гришка,
перебрал ты лишнего, скоро тебе крышка.

Жизнь свою в камине сожги как поленья,
посади Империю к себе на колени!

На плече, как сокол, сидит цареныш.
Взвил судьбу высоко, гляди — уронишь.

Берегись, Григорий, Григорий Ефимыч,
шел ты в дом игорный, где выигрыш — финиш.

Девка подозрительная под тобой хлопочет
или дэвы мстительные над тобой хохочут?

Кто ты? Жизни тризна? Забава ль туристам?
Иль тоска мужицкого авантюриста?

Что за ужас прячется под пьяной зевотой?
Почему ты мучаешь меня сегодня?

Спит страна великая, щедрая и нищая,
голову собора уронив на нивы.

Пробудись, любимая, смахни супостатов.
В небесах проносится планета хвостатая.

Отражаясь в реках и в юбках с люрексом,
мчит планета красная. Скоро революция.
1976

СВАДЬБА

Где пьют, там и бьют —
чашки, кружки об пол бьют.
Горшки — в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чье-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелегкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?

Где пьют, там и льют —
слезы, слезы, слезы льют...
1956

* * *

В больничном саду воскресник.
На липы и на дубы
халатики, встав на лесенки,
накладывают бинты.

Халатики отлетели!
Но снятся дубам с тех пор
ментоловые метели
взволнованных медсестер.

1977

* * *

В век варварства и атома
мы — акушеры нового,
нам эта участь адова
по нраву и по норову.

Мы — бабки повивальные,
а век ревет матеро,
как помесь павиана
и авиамотора.

Попробуйте при родах
подобных постоять,
сгорать на электродах
и в руки радий брать.

И, счастлив этой долей,
художник в мастерской
стоит, смертельно болен
болезнью лучевой.

1957

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,
все после нас...

С неба тяжелого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К черту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?

1950-е

* * *

Вызывайте ненависть на себя почаще,
пусть кому-то нежному достанется счастье.

Под прицелом снайпера закурите «Мальборо»
и четверостишие напишите набело.

Вызывайте ненависть тем, что выживаете.
Пусть прицелы пляшущие скажут — вы из ваты.

И скажите с нежностью снайперу всемирному:
«Расстрелял всю ненависть?
Тебе легче, милый?»

1980

СОНЕТ С УЗЛОМ

У тебя развязался шнурок,
и, согнувшись, как прут для корзины,
в узел пальцами рук и ног
ты завяжешь упругую спину.

Ах, какого движенья урок!
Ты сожмешься в сонете пружиной,
и свободного свиста залог
в миг, как только тебя я покину.

Что за свежесть в себе растворять
мир движений твоих золотых,
повторяю — какое везенье!
Ожиданье тебя потерять.
Изо всех состояний твоих
обожаю движенье.

1977

ШЕКСПИРОВСКИЙ СОНЕТ

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж...
Да жаль тебя покинуть, милый друг.
Перевод С. Маршака

В ночи Биг-Бен — как старая копирка.
Опять перевожу сонет Шекспира.
«Охота сдохнуть, глядя на эпоху

елизаветинского переполоха,
в которой честен только выпивоха,
когда земля растащена по крохам,
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.
Охота сдохнуть Лиру, скомороху,
Лаэрту, Дездемоне. Мрут, не охнув.
А Макбет — благодетель. Вот в чем хохма.
Победный Йорик, как успел ты сдохнуть!
Охота сдохнуть, слыша пустобреха,
что Рэдфорд маскируется неплохо
в шекспировский сонет, быв графом походя.
Мораль читают выпускницы Сохо.
В невинность хам погрузится по локоть,
хохочет накопительская похоть,
от этих рыл — увидите одно хоть —
охота сдохнуть...
Да друга бросить среди этих тварищ —
не по-товарищески».
Давно бы сдох я в стиле «деваляй»,
но страсть к тебе с убийствами в контрасте.
Я повторяю: «Страсти доверяй»,
trust страсти!
Да здравствует от этого пропасть!
Все за любовь отчитывать горазды,
конечно, это пагубная страсть —
trust страсти.
Власть упадет. Продаст корысть ума.
Изменят форму транспортные трассы.
Траст страсти, ты не покидай меня —
траст страсти!

1983

ПОРТРЕТ

Над могилой с молодым портретом
наклонилась женщина с пучком.
Лапотник поправит и потреплет.
А вспугнут — отпрыгнула бочком.

Почему она, отставив лейку, —
будто век работала в саду, —
прячется в соседнюю аллейку
и пережидает, что уйду?

Что-то в ней до боли незнакомое.
Фото мною вправлено в металл.
Перед ним поправила заколку.
И портрет затрепетал.

И потом, закрытая спиною,
из него, как в зеркале, легко
примется подглядывать за мною.
Боже! Я узнал Твое лицо.

1983

* * *

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности — от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукалыванья, до иглоукалыванья.

Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,
в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймете, почему так колко.

1979

* * *

Остерегите истеричек!
Топя народы, как слепых котят,
со скоростью зеленых электричек
ночные волны к берегу летят.

Пред ужасом несущегося Времени
в купальнике, стремительном как стриж,
как в ожиданье поезда Каренина,
на беспощадном береге стоишь.

1983

ФРЕСКИ

У храма, где погода голубая,
я деревце ореха посадил.
«Тимотес, — повторяю я, — Убани,
ты — самых синих фресок монастырь».

Я через год вернулся. Древо это
растет наклонно, ствол перекося.
Оно тянулось к фресковому свету,
чей синий пересилил небеса.

1984

ПРОРАБЫ ДУХА

Не гласно и не по радио,
слышу внутренним слухом —
объявлен набор в прорабы
духа!

Требуются бессребреники
от Кушки и до Удельной!
Мы — нация Блока, Хлебникова.
Неужто мы оскудели?

Требуются подвижники!
Зову вас «прорабы духа».
Требуются сподвижники
Морозову и Остроухову.

Подруги прорабов духа,
молодые Афины Паллады!
Вы выстрадали в клетухах
потрясшие мир палаты.

Духовные подмастерья,
вам славы не обещаю,
вам обещаю тернии,
но сердцем не обнищаете.

С души все спадает рабское,
пустяковое,
когда я вхожу в прорабскую
Цветаева и Третьякова.

Пчелы национальные!
Медичи из купцов —
москворецкие меценаты,
точнее — творцы творцов.

Мы нация не параметров
рапповской бормотухи —
прорабы, прорабы, прорабы
духа!

Голодных моих соплеменников
Париж озирал в бинокли —
врубил свое чудо Мельников
космически-избяное.

Забыты сатрапы духа,
кто помнит Победоносцева?
Прорабы, прорабы духа —
поныне плодоносят.

Играет ли Рихтер баллады,
колотит ли рыба по трапу —
я слышу — прорабы, прорабы,
живы прорабы!

Хватит словесных выжимок —
время гранить базальты.
Сколько снесли подвижнически,
сколько мы разбазарили!

Шедеврам штопают раны,
спасают тюленя-белуху —
прорабы, прорабы, прорабы
духа.

Не только дело в искусстве.
Преодолевая выжиг,

чтоб было мясо в Иркутске,
требуется подвижник —

с небес золотое яблочко
не снесет нам Курочка Ряба —
экономику неканоническую
нащупывают прорабы.

Кто взвил к мирам аппараты,
где может быть жизнь, по слухам?
Ау, внеземные прорабы —
духа!

Читаю письма непраздные
чистого поколенья —
как в школу прорабов правды,
синие заявления!

Требуйте, Третьяковы!
Принадлежат истории
не кто крушил Петергофы,
а кто Петергофы строили.

Но сердце все поторапливает.
Есть в каждом росток прорабства.
Прорабы, прорабы, прорабы,
проснуться пора бы!

Сметет карьерных арапов,
арапов нюха.
Требуются прорабы
духа.

1984

ОТКРЫТКА

Что тебе привезти из Парижу?
Кроме тряпок, т. д. и т. п.
Пожелтевшую нашу афишу
и немного тоски по тебе.

Небогатые эти подарки.
Я в уме примеряю к тебе
Триумфальную белую арку,
словно платье с большим декольте.

1984

ТРИ СИНИХ

Прощайте, три тома!
Вы синими родились.
Прощайте, три дома —
Жизнь — Смерть — Высь.

Бог, видно, прошляпил —
на вас ледерин не усек,
одел вас в оставшийся штапель,
ошибочной сини клочок!

Прощайте, три синих!
Кого я на вас подпишу?
Непереносимо,
что кто-то идет к стеллажу.

Спустя сто лет точно
возьмет гениальный сопляк,
сверкнув голубою пощечиной,
надписанный мной экземпляр...

Ты знаешь лишь черное небо,
космические корабли.
Возьми его в синих брикетах,
как я его видел с Земли.

Потомок, возьми три тома
земных надежд и потерь,
осыпавшемуся золотому
не верь. Только синему верь.

Пацан, в наших днях отрытых
найди свою мерку крыл,

как в лермонтовской палитре
Врубель себя открыл.

Я жил во всяких трясинах,
но небо я синим знал.
Прощайте, три синих!
Кто тройкой Россию назвал?

Зачем-то ведь Бог прошляпил,
одну звезду не учел —
одел ее в зрячий штапель,
такой одинокий зрачок.

Вы нас обогнали, сирых,
на телеэлементах гальюн.
Но поют ли вам Сирин,
Алконост, Гамаюн?

Когда ты их вынешь с полки,
то щелка небытия
откроется ровно на столько,
что жизнь занимала моя.

Куда вы, томы, девались?
Не дрейфь. Ты ищешь не тут.
Три синие «адидаса»
Москвой-рекою бегут.

Мужик, пробежимся с ними?
И что означает синь?
Я думаю — это Жизнь.

Живите, три синих!

1984

* * *

Две школы — женская, мужская...
Две школы — проза и стихи.
Зачем их разлучать? Не знаю.
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулезный,
поди попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

1981

ОРЛЫ И ОРДЫ

СЛАДОСТРАСТИЕ

Наши трапезы — сладострастные.
Кулинарочка ты — потрясная!

Ты придешь, только скажешь: «Здрасьте!» —
умираю от сладострастья.

Воздух утром дрожит над пряслами
целомудренным сладострастьем.
Полосатый арбуз матрасный
скоро лопнет от сладострастья.
И березки дрожат за трассою —
адидасное сладострастье.

Отдавайтесь до обладания.
Заплывайте в любовь не в ластах!
Сладострастие сострадания.
Сострадание сладострастья.

Как подушечка для иголок,
не от боли кричит — от счастья,
Себастьян — гениальный сполох
христианского сладострастья!

Как своячница д-ра Астрова
ненавязчиво сладострастна!
Жизнь — созданье. А цель созданья —
сладострастие состраданья.

Ты написана белым фломастером,
пахнешь сном и зубною пастой.

Твоя пятка — туз пятой масти.
Можно спятить от сладострастья!

Как я в жизни пролоботрясничал,
выяснял отношения с властью...
От невзгод наших спрячусь страусом
в твое белое сладострастье.

1999

РАСПУСТИ ВОЛОСЫ

Распусти волосы, что тебе срезали,
распустись полностью,
распустись в вольности, запусти классику,
запусти «Волосы»,
отпусти волосы до грибной Вологды, босиком по лесу,
где их мать расчесывала Гребенщиковым, —
до волны новой голосов войсовых —
распусти волосы.

От луны полосы. До звезды Сириус распусти волосы,
свей гнездо, ласточка, говорю serious,
свей гнездо, swallow.
Опусти занавес над былой пропастью.
Ты в таком возрасте —
отрастут заново... Прекрати возгласы.
Проплыви шабаши в душевой шапочке,
распусти волосы.

Мужики сволочи, лишь хлюсты холосты,
а одной холодно,
пусть кричат мальчики, в жажде «вольв» бросовых:
«Королева — голая!»

Не они слышали в шалаше шелковом твоего хвороста,
как шуршат шепотно, как трещат фосфорно —
хоть электрифицируйте
пол Московской области!

Что читать попусту? Темней философов
среди занюханных гладиолусов
твои тяжелые от волненья,
варфоломеевские волосы
с застрявшим крестиком белой сирени.
Пустите, волосы!

Над своим извергом, в майке «Мегаполиса»,
чтоб заснул вскорости, свет заштрорь полностью,
а с утра внаглую по его просьбе
остригись наголо. И сожги волосы.

Отпусти, Господи, ей грехи молодости!
И прости волосы.
1995

ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Пло́тин и Плотин.

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платить супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!
За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.

Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!..»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
дном, унижениями, прачечными,
за все мужские палачества
женщине надо платить.

1995

ЛЕСНОЙ РЕГТАЙМ

С. Юрскому

Ку-ку —
миную Времени реку — *ку-ку-ку-ку-*
читаю ли Матфея и Луку,
ку-ку-ку-ку-ку-ку-
укушенный собаксами, бегу —
тебе не прозвонюсь через Москву —
ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-

лишь состраданье неба привлеку,
что, клен приставив пятерней к виску,
помахивая мне, как дурачку,
меня диагностирует:
«ку-ку!»

Мы все — «ку-ку» — внизу, хоть наверху.
Кухарка, слей чеченскую уху! —
ку-ку-ку-ку — ушу или Ду Фу —
чужие яйца отыщи в шкафу —
кукареку! — *ку-ку-ку-ку из ху?*
Куда? Отку... Откупорь бутыл-ку...
Прейску-иску-я рашен обеску...
Ку-ку-ку-ку — подобно пузырьку,
не капай нам всемирную тоску,
оккультная пичужка на суку!..
Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку...
Лишь в небе в акустическом цеху
Курехин оборвет свою строку —
ку...
1998

ЦИКЛАМЕНА

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена.

Не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкой детского ротика
цветет целомудренная эротика.

Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

Цвети, цикламена!
1996

* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ощупь. Ты меня очень...

Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.

Время нас мочит. Город нам — отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...

Лето ли, осень, а мы фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999

МЫ ЛЮБОВНИКИ, МОРЕ

РУССКИЙ ЭРОС

Падали, хрипя до рвоты, ротные.
Чернозем остался на губе.
Эротическое чувство родины
прижимает, милая, к тебе.

И никелированная ересь,
месяцем пошедши на ущерб,
русский эрос — Эрэсэфэсэрос —
в небе молот скрещивал и серп.

Нержавейка озаряла серость
полосато, вроде лунных зебр.

За границей шепчем, как молитву,
наш нецензурованный словарь.
Дворянин, судимый за Лолиту,
сквозь нее усадьбу целовал.

Что сегодня называем «пошлостью» —
это не свобода сатаны,
это вопли на соборной площади
потерявшей родину страны.

Холода черемух приворотные...
Из чужих, заморских пропастей
эротическое чувство родины
тянет всех в последнюю постель.

1998

* * *

Ресторан качается,
точно пароход,
а он свою любимую
замуж выдает.

Будем супермены.
Сядем визави.
Разве современно
жениться по любви?

Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроется —
двинемся в мотель.
«Ты поправь, любимая,
трефовый парик.
Ты разлей рябиновку
ровно на троих.
Будет все как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,
выходя, поглубже
капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь,
но возненавидишь...»
«Сани расписные», —
стонет шансонье.
Вот они отъедут —
расписанные...
И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, скот, любимую
замуж выдаешь?»

1974

ПЕРИСКОПЫ

НИРВАНА

Я сознанью учусь параллельному.
Из Синьцзяна гуру мой с портфелем.

К потолку уплывают колени.
И нирвана дымит куренья,
словно профили параллельные
Маркса-Энгельса-Сталина-Ленина.

Жизнь бежит за стеной молельни.
Параллельны мы, параллельны.
Поправели вы? полевели вы?
Параллельны мы, параллельные.

Параллельные окна завешены.
Параллельные женщины.
Параллельны мы, параллельные.
Нас поймут через поколение.

Над трамплином в небо смертельное,
как двуперстие на дорогу,
взвиты лыжины II,
словно путь Николая II.

Что ищу на горе Поклонной,
в нимбах, демонах, снах неузнанных?
Я ищу пропащую школьницу
в наушничках.

С рюкзачком она, как бойскаут.
Ее демоны не отпускают.

Ты во всем меня понимаешь,
как в наушниках Микки-Маус.
Как в нас демоны заревели,
когда встретились параллели!

Как зовут тебя в мире странном?
Ты не слышишь. Ты не ответишь.
Лишь мерцает сквозь суперветошь
имя вышитое: «Нирвана».

Называемая Нирваною,
моя школьница параллельная,
как минер, углубясь в мембраны,
ты смеешься:
«Нет мин. Проверено».
То, что раньше считалось — рано,
стало майками от Версаче.
Вранье взрослых переворачиваем
в палиндром — А НАВРИ, НИРВАНА.

Собираемся на Поклонной,
люди роликов, после школ.
Катитесь, Наполеоны,
на колесиках своих шпор!

Не на Лысой горе — на Поклонной,
не задев отставных полковников,
мы не варвары, мы не эллины,
мы парим, нирванопоклонники,
параллельное поколение!..

Между пьяниц с глазами кроликов,
как прабабка твоя меж пьяными,
ты скользишь, королева роликов,
именуемая Нирваною!

Ах, Нирвана, свобода зверская,
с синячками от банды сверстников.
Параллельны мы, параллельные...
Вас поймут через поколение.

1995

ШКОЛЬНИЦА

Ревет метро, как пылесос.
Бледнеют взрослые, как монстры.
Под кокаиновой пыльцой
дрожали ноздри.

И это крылышко с брильянтом,
и ноздри с белым ободком
притягивались хоботком
к беде, сладчайшей и приватной.

К чему фальшивые жемчужины?
Уже поехал потолок.
И лобик, мыслями замученный...
Лети, мой падший мотылек!

Не вызывайте «скорой помощи»!
Тот хоботок неумолим.
И ноздри с чуткою каемочкой...
Ах, окаянный кокаин!

Летишь от наших низких истин,
от туалетного бачка —
небесная кокаинистка,
набоковская бабочка!

1995

УЛЕТ

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
боже отпусти на не

ель наденет платье диз
фаны видят мой наф-на
и на крыше нафтали
боже отпусти на не

не мелодия для масс
чево публику пуга
Зыкина анти му-му
боже отпусти на не

тятя тятя наши се
цаца цаца ца мертве
леннона проходят в шко
господи пусти на ю

до свидания бельмон
инактриса пошла к
зонцы выбирают барби
Нику дали шизофре
рновскую вкушают СМИ

ад пусти меня на зап
да хотя бы в нику
enthusiasm это kitch

оба сели с свои вольв
мент проверил их доку
оказались безрабо

ердие безрукой Милос
тронь фонариком мне ну
много в человеке те

политически ужо
единенье кажный раз
сколько жен/ударов в мин
я кричу что гибнет росси

боже отпусти на не
лампа-жизнь разбилась попо
ты не оправдала меч

боже отпусти на не
1996

* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.

Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.

Матерком твоим чистым
и толковым уменьем —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновеньем.

Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!

Жемчуга среди щебня.
Ландыши среди хвороста.
Расставанья волшебные
мотылькового возраста.

1996

В ДНИ НЕСЛЫХАННО БОЛЕВЫЕ

МОЛИТВА

Из поэмы «Кара Карфагена»

Помоги, помоги, помоги,
я Тебя умоляю о помощи.
Помоги мне стерпеть позвонки
и пройти, не хватаясь за поручни.

Мой в испарине лоб промокни.
У тебя не один я, страдалец.
Я ей должен помочь. Помоги!
Без меня она в мире осталась.

Помоги мне достроить собор.
Помоги мне сейчас не погибнуть.
Помоги мне остаться собой.
Помоги мне Тебя не покинуть.

1996

ГАРЬ

Гарь, гарь, гарь...
Над страной — карр! карр!
За стеной: «Дай, Галь...»

Запаркуй кар.
Стол. Хмарь харь.
На душе гарь.

Подгорел сухарь?
Или жгут орех?

Гарь, гарь, гарь —
это пахнет грех.

Едкий вкус дымка,
перегрев ТВ?
Или же река
курит в рукаве?

Пей или ругай —
но в сознанье всех —
гарь, гарь, гарь.
Это пахнет грех.

Угорелые народы.
Угорелая свобода.
Некуда открыть окно.

1990

* * *

Я последний поэт России.
Не затем, что вымер поэт, —
все поэты остались в силе.
Просто этой России нет.

1991

ЯМБЫ И БЛЯМБЫ

ТЕРЯЮ ГОЛОС

1

Голос теряю. Теперь не про нас
Гостелерадио.
Врач мой испуган. Ликует Парнас —
голос теряю.

Люди не слышат заветнейших строк,
просят, садисты!
Голос, как вор на заслуженный срок,
садится.

В праве на голос отказано мне.
Бьют по колесам,
чтоб хоть один в голосистой стране
был безголосым.

Воет стыдоба. Взрывается кейс.
Я — телеящик
с хором из критиков и критикесс,
слух потерявших.

Веру наивную не верну.
Жизнь раскололась.
Ржет вся страна, потеряв всю страну.
Я ж — только голос...

Разве вернуть с мировых свозняков
холодом арники
голос, украденный тьмой Лужников.
и холлом Карнеги?!

Мной терапевтов замучена рать.
Жру карамели.
Вам повезло. Вам не страшно терять.
Вы не имели.

В бюро находок длится дележ
острых сокровищ.
Где ты потерянное найдешь?
Там же, где совесть.

Для миллионов я стал тишиной
материальной.
Я свою душу — единственный мой
голос теряю.

2

Все мы простуженные теперь.
Сбивши портьеры,
свищет в мозгах наших ветер потерь!
Время потери.

Хватит, товарищ, ныть, идиот!
Вытащи «кодак».
Ты потеряешь — кто-то найдет.
Время находок.

Где кандидат потерял голоса?
В компре кассеты?..
Жизнь моя — белая полоса
еще не выпущенной газеты.

Го, горе!
Р you,
м м
ос те ю!

3

...Ради Тебя, ради в темном ряду
белого платья,

руки безмолвные разведу
жестом распятья.

И остроумный новоосел —
кейс из винила —
скажет: «Артист! Сам руками развел.
Мол, извинился».

Не для его музыкальных частот,
не на весь глобус,
новый мой голос беззвучно поет —
внутренний голос.

Жест бессловесный, безмолвный мой крик
слышат не уши.
У кого есть они — напрямик
слушают души.

2002

БОЛЬ

О. Табакову

Вижу скудный лес
возле Болшева...
Дай секунду мне без
обезболивающего!

Бог ли, бес ли,
не надо большего,
хоть секундочку без
обезболивающего!

Час предутренний, камасутровый,
круглосуточный, враг мой внутренний,
сосредоточась в левом плече,
вывел тотчас отряды ЧЕ.

Мужчину раны украшают.
Мученье прану укрощает.

Что ты, милый, закис?
Где ж улыбка твоя?
Может, кто мазохист,
это только не я.

Утешься битою бейсбольною.
Мертвец живет без обезболивающего.
Обезумели — теленовости,
нет презумпции
невиновности.

Христианская, не казенная.
Боль за ближнего, за Аксенова.
Любовь людская: жизнь-досада.
Держись, Васята!
Воскрешение — понимание
чего-то больше, чем реанимация,
нам из третьего измерения —
не вернутся назад, увы,
мысли Божие, несмиренные
человеческой головы.

Разум стронется.
Горечь мощная.

Боль, сестреночка, невозможная!

Жизнь есть боль. Бой с собой.
Боль не чья-то — моя.

Боль зубная, как бор,
как таблетка, мала.

Боль, как Божий топор, —
плоть разрубленная.

Бой — отпор, бой — сыр-бор,
игра купленная.

Боль моя, ты одна понимаешь меня.

Как любовь к палачу,
моя вера темна.

Вся душа — как десна
воспаленная.

Боль — остра, боль — страна
разоренная.

Соль Звезды Рождества
растворенная.

Соль — кристалл, боль — Христа —
карамболь бытия.

Боль — жена, боль — сестра,
боль — возлюбленная!

Это право на боль
и дает тебе право
на любую любовь,
закидоны и славу.

2008

ЖИЗНЬ

Благодарю за ширь обзора,
за Озу, прозу и в конце —
за вертикальные озера
на ненакрашенном лице.

2007

ДОМ С РУЧКОЙ

Как живется вам, мышка-норушка?
Стал с наружною лестницей дом
походить на тесовую кружку,
перевернутую вверх дном.

С этой лестницы многое видно.
Она — красочный репортаж,

где вдыхаемый индивидуум
поднимается на этаж.

Прерывающимся дыханием
дышит дом... дышит дом... дышит дом...
В нем мы трудимся, отдыхаем
и, бывает, баклуши бьем.

Начинающая архитектор,
спроецировав дышащий дом,
наделила нечаянным спектром
интерьер его — и кругом.

Это просто невыносимо:
если нам перекроют шланг —
видеть легкие выносные.
Или воздух берет акваланг?

Станем душами. Здесь мы жили.
Любили морепродукт.
Пусть весело ночи чужие
по нашим ступенькам пройдут!

Подслушка или наружка? —
Не поймут этот сложный маршрут.
Почему она светится, ручка?
И куда те ступени ведут?..

2008

* * *

Мы уплывали вместе, обняв мой крест...

2010

Поэмы

МАСТЕРА

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники...
Звон. Звон.

Вам,
художники
всех времен!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниею заживо
испепелял талант.

Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.

Художник первородный —
всегда трибун.
В нем дух переворота
и вечно — бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.

Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И музу, точно Зою,
вели на эшафот.

Но нет противоядия
ее святым словам —
воители,
ваятели,
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
под колокольный звон...

Вам,
варвары
всех времен!

Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!

Империи и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
троянского коня.

Ваш враг — резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.

Вас мое слово судит.
Да будет — срам,
да
будет
проклятье вам!

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
да рука мощна!

Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых — семеро,
их было сильных — семеро,
наверно, с моря синего
или откуда с севера,

где Ладога, луга,
где радуга-дуга.

Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтоб взвились, точно радуга,
семь разных городов.

Как флаги корабельные,
как песни коробейные.

Один — червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой — чтобы, как девица,
был белогруд, высок.
А третий — точно деревце,
зеленый городок!

Узорные, кирпичные,
цветите по холмам...
Их привели опричники,
чтобы построить храм.

III

Кудри — стружки,
руки — на рубанки.
Яростные, русские,
красные рубахи.

Очи — ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.

IV

Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земным дарам.

Здесь купола — кокосы,
и тыквы — купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
их буйные листы,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.

И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!

И москвичи молились
столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рек:
— У, шельмы,
в бараний рог!
Сплошные перламутры —

сойдешь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма...
Купец галантный,
куль голландский,
шипел: Ишь надругательство,
хула и украшательство.
Нашел уж царь работничков —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени,
семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь — кабальная,
им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика
все похвалялся, тать,
как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал...

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал в полнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчина прятался.
А немец, как козел,
скакал, задрав камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
все посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой все поглаживал...

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей, гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных санях...
Купола горят глазуньями на распахнутых снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу ладов.
Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов.
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?
Поэмы нет.

Была в семь глав она —
как храм в семь глав.

А нынче безгласна —
как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.
. . . . . .
И руки о рубахи
отерли палачи.

РЕКВИЕМ

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...
Врете,
сволочи,
будут города!

Над ширью вселенской
в лесах золотых
я,
Вознесенский,
воздвигну их!
Я — парень с Калужской,
я явно не промах.
В фуфайке колючей,
с хрустящим дипломом.
Я той же артели,

что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
двадцать веков!
Я тысячерукий —
руками вашими,
я тысячеокий —
очами вашими.
Я осуществляю в стекле и металле,
о чем вы мечтали,
о чем — не мечтали...
Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетой
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!
И завтра ночью тряскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!

...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
уставились очи
безглазых глазниц.

1957

ЛОНЖЮМО

АВИАВСТУПЛЕНИЕ

Посвящается
слушателям школы Ленина в Лонжюмо

Вступаю в поэму, как в новую пору вступают.
Работают поршни,
соседи в ремнях засыпают.
Ночной папироской
летят телецентры
за Муром.
Есть много вопросов.
Давай с тобой, Время,
покурим.
Прикинем итоги.
Светло и прощально
горящие годы, как крылья, летят за плечами.

И мы понимаем, что канули наши кануны,
что мы, да и спутницы наши, —
не юны,
что нас провожают
и машут лукаво
кто маминым шарфом, а кто —
кулаками...
Земля,
ты нас взглядом апрельским проводишь,
лежишь на спине, по-ночному безмолвная.
По гаснущим рельсам
бежит
паровозик,

как будто
сдвигают
застежку
на «молнии».

Россия, любимая,
с этим не шутят.
Все боли твои — меня болью пронзили.
Россия,
я — твой капиллярный
сосудик,
мне больно, когда —
тебе больно, Россия.
Как мелки отсюда успехи мои,
неуспехи,
друзей и врагов кулуарных ватаги.
Прости меня,
Время,
что много сказать
не успею.
Ты, Время, не деньги,
но тоже тебя не хватает.
Вступаю в поэму. А если сплошаю,
прости меня, Время, как я тебя часто
прощаю.

I

В Лонжюмо сейчас лесопильня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?
Нас распилами ослепили
бревна, бурые, как эскимо.

Пилы кружатся. Пышут пильщики.
Под береткой, как вспышки, — пыжики.
Через джемперы, как смола,
чуть просвечивают тела.

Здравствуй, утро в морозных дозах!
Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны — тезки?!
Пахнет музыкой. Пахнет тесом.

А еще почему-то — верфью,
а еще почему-то ветром,
а еще — почему не знаю —
диалектикою познанья!

Обнаруживайте древесину
под покровом багровой мглы.
Как лучи из-под тучи синей,
бьют
опилки
из-под пилы!

Добирайтесь в вещах до сути.
Пусть ворочается сосна,
словно глиняные сосуды,
солнцем полные дополна.

Пусть корою сосна дремуча,
сердцевина ее светла —
вы терзайте ее и мучайте,
чтобы музыкою была!

Чтобы стала поющей силищей
корабельщиков, скрипачей...

Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть вещей.

II

Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины — эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!

Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты —
эмигранты!
Эмигрировали в клозеты
с инкрустированными розетками,
отгораживались газетами
от осенней страны раздетой,
в куртизанок с цветными гривами —
эмигрировали!

В драндулете, как чертик в колбе,
изолированный, недобрый,
средь великодержавных харь,
средь нарядных охотнорядцев,
под разученные овации
проезжал глава эмиграции —
Царь!

Эмигранты селились в Зимнем.
А России сердце само —
билось в городе с дальним именем
Лонжюмо.

III

Этот — в гольф. Тот повержен бриджем.
Царь просаживал в «дурачки»...
...Под распарившимся Парижем
Ленин
режется
в городки!

Раз! — распахнута рубашка,
раз! — прищуривался глаз,
раз! — и чурки вверх тормашками —
Рраз!

Рас-печатывались «письма»,
раз-летясь до облаков, —
только вздрагивали бисмарки
от подобных городков!

Раз! — по тюрьмам, по двуглавым —
ого-го! —
Революция играла
озорно и широко!

Раз! — врезалась бита белая,
как авроровский фугас —
так что вдребезги империи,
церкви, будущие берии —
Раз!

Ну играл! Таких оттягивал
«паровозов»! Так играл,
что шарахались рейхстаги
в 45-м наповал!

Раз!..

...а где-то в начале века
человек, сощуривши веки,
«Не играл давно», — говорит.
И лицо у него горит.

IV

В этой кухоньке скромны тумбочки,
и, как крылышки у стрекоз,
брезжит воздух над узкой улочкой
Мари-Роз,

было утро, теперь смеркается,
и совсем из других миров
слышен колокол доминиканский,
Мари-Роз,

прислоняюсь к прохладной раме,
будто голову мне нажгло,
жизнь вечернюю озираю
через ленточное стекло,

и мне мнится — он где-то спереди,
меж торговок, машин, корзин,
на прозрачном велосипедике
проскользил,

или в том кабачке хохочет,
аплодируя шансонье?
или вспомнил в метро грохочущем
ослепительный свист саней?

или, может, жару и жаворонка?
или в лифте сквозном парит,
и под башней ажурно-ржавой
запрокидывается Париж —

крыши сизые галькой брезжут,
точно в воду погружены,

как у крабов на побережье,
у соборов горят клешни,

над серебряной панорамою
он склонялся, как часовщик,
над закатами, над рекламами,
он читал превращенья их,

он любил вас, фасады стылые,
точно ракушки в грустном стиле,
а еще он любил Бастилию —
за то, что ее срыли!

И сквозь биржи пожар валютный,
баррикадами взвив кольцо,
проступало ему Революции
окровавленное
лицо,

и, глаза почему-то режа,
сквозь сиреневую майолику
проступало Замоскворечье,
все в скворечниках и маевках,

а за ними — фронты, юденичи,
Русь ревет со звездой на лбу,
и чиркнет фуражкой студенческой
мой отец на кронштадтском льду.

Папа, это ведь не смертельно?
Папа, как ты в годах глухих?..
Мы родились от тех метелей,
погибаем теперь от них.

Он отсюда мыслил ракетно.
Мысль его, описав дугу,
разворачивала
парапеты
возле Зимнего на снегу!

(Но об этом шла речь в строках
главки 3-й, о городках.)

V

В доме позднего рококо
спит, уткнувшись щекой в конспекты,
спит, живой еще, невоспетый
Серго,

спи, Серго, еще раным-рано,
зайчик солнечный через раму
шевелится в усах легко,
спи, Серго,

спи, Серго, в васильковой рубашечке,
ты чему во сне улыбаешься?
Где-то Куйбышев и Менжинский
так же детски глаза смежили.

Что вам снится? Плотины Чирчика?
Первый трактор и кран с серьгой?
Почему вы во сне кричите,
Серго?!

Может, правы эмблемы тех лет,
где, как солнечное затмение,
надвигался на профиль Ленина
неразгаданный силуэт?

Жизнь хитра. Не учесть всего.
Спит Серго, «коммунист кремневый».
Под широкой стеной кремлевской
спит Серго.

VI

Ленин прост — как материя,
как материя —
сложен.
Наш народ — не тетеря,
чтоб кормить его с ложечки!

Не какие-то «винтики»,
а мыслители,

он любил ваши митинги,
Глебы, Вани и Митьки.

Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.

Вызревавшие мысли
превращались потом
в «Философские письма»,
в 18-й том.

* * *

Его скульптор лепил.
Вернее,
умолял попозировать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,

бормотал он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»

Поэтично кроить Вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина, —
в Ленина
бил отравленный пистолет.

VII

Однажды, став зрелей, из спешной
повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок и прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«Скажите, Ленин, мы — каких Вы ждали,
Ленин?!

Скажите, Ленин, где
победы и пробелы?
Скажите — в суете мы суть не проглядели?..»

«Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин
отвечает.

На все вопросы отвечает Ленин.

1962–1963

ОЗА

Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы

* * *

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности свело.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
И тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза...

I

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.
Говорили ей — не ходи в зону!
А она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая, изменяли очертания, как лампочки иллюминации на Центральном телеграфе.

Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем же. И нос был на месте, только вставлен внутрь, точно полый чехол кинжала. Неумещающийся копчик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины.

Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировочка! На место ладьи генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога.

«Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно. Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.

«Е9–Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции сохранял порядок. Его члены сияли, как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одно-

го над столом вместо туловища торчали ноги, подобно трубам перископа.

Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

III

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рисковой,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

IV

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?

Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?

Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...

Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в офисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, нам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от финиша к старту задним ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались в прутики саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев прожженную дырочку на рубашке, юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот, свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идет от старости к молодости.
Хотя бы средневековье. Старость. Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс — бабье лето человечества. Это как женщина, красивая, все познавшая, пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX...
А начало XX века — бешеный ритм революции!.. «Мы — первая любовь земли...»
«Я думаю о будущем, — продолжает историк, — когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Бояться техники? Что же, назад в пещеру?..»
Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

V

А не махнуть ли на море?

VI

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!

Можно бы — да на фига?

VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.

И прежде чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков будущего! Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты. У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у тебя из левой туфельки не вытряхнулась сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты никогда не разглядела майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне. Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то ерзаешь. «Ну что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь, как на иностранном языке: «Я получила большое эстетическое удовольствие!

А раньше я тебя боялась... А о чем ты думаешь?..»

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелек пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!
. . . . . .

IX

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая
подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...

И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть — увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
ее командировщики листали,
острили на полях ее устало
и засыпали, силясь разобрать,

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактист!»
А снизу красным: «Сам туда катись!»

«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
Ты смотришь в книгу —
видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментариев без них.

* * *

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.

А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул что посущественней...
А следующей фразой было:

ТЫ

X

Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами.

У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — недозрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое место?»

«Генерала, может, ждут?» — «А может, помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим. Изящные денди, подходящие тебя поздравить, спотыкаются об меня, царапают вилками.

Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то этакого! Поближе к жизни, не от мира сего... чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается, как спускают трап с вертолета). Голос его странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Матерь Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —
стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь забери и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел, как кикимора.
Все безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Матерь Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его белом лице, как на тарелке, горел нос, точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твое озеро.
До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесет...

Все замолкают.

Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает что-то! И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг

друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность? Что за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?

Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя, разбить это зеркало.

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим, а бутерброд реален! Он передвигается по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.

Слух моментально пронизывает головы, как бусы на нитке.

Красные змеи языков ввинчиваются в уши соседей. Все глядят на бутерброд. «А нас килькой кормят!» — вопит классик.

Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат меня, кто же выручит тебя: кто же разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на красную дорожку пола. Рядом со мной, за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо, жмут кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!..

Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.

Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.
«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

XI

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.

Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Только ты не переменилась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свинарня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет

очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

XII

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядреный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник,
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

XIII

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

XIV

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.
Шел самолет.
И за ним
на неизменном расстоянии
летел отставший звук,
прямоугольный, как прицеп
на буксире.

Дубна — Одесса
Март 1964

АВОСЬ!

Поэму «Авось!» я начал писать в Ванкувере.

Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими, где герой наш, «ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ея», о чем откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года.

Сдав билет на самолет, сломав сетку выступлений, под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лестные страницы о Резанове толстенного тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника.

Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала. «Люди оцыножали и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом, ели что попало...»

Был апрель. В Сан-Франциско, надев парадный мундир, Резанов пленил Кончу Аргуэльо, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Резанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахини. Так появилась первая монахиня в Калифорнии.

За океаном вышло несколько восхищенных монографий о Резанове. У Брет Гарта есть баллада о нем.

Дописывал поэму в Москве.

В нашем ЦГИА хранится рукописный отчет Резанова, частью опубликованный у Тихменева (СПб., 1863). Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное.

Какова личность, гордыня, словесный жест! «Наконец являюсь я. Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим».

Слог каков! «...И наконец погаснет дух к важному и величественному. Словом: мы уподобимся обитому огниву, об который до устали рук стуча, насилу искры добьешься, да и то пустой, которою не зажжешь ничего, но когда был в нем огонь, тогда не пользовались».

Как аввакумовски костит он приобретателей: «Ежели таким бобролюбцам исчислить, что стоят бобры, то есть сколько за них людей перерезано и погибло, то, может быть, пониже бобровыя шапки нахлобучат!»

Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество: «18 июля 1805 г. В самое тож время произвел я над привезенным с острова Атхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына торжественный пример строгого правосудия, заковав сего преступника в железы...»

Резанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузенштерна. Крузенштерн и Лисянский были под началом у Резанова и ревновали к нему. Они не ладили. В Сан-Франциско наш герой приплыл, уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Довыдова.

Матросы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путем к свободе.

В поэму забрели два флотских офицера. Имена их слегка измененные. Автор не столь снедаем самомнением и легкомыслием, чтобы изображать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, — недоказуема, хотя и несомненна. Ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувство.

Смерть настигла Резанова в Красноярске 1 марта 1807 г. Кончитта не верила доходившим до нее сведениям о смерти жениха. В 1842 г. известный английский путешественник, бывший директор Гудзоновой компании сэр Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели нашего героя. Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет. Поверив в его смерть, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы не во всем адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 г. Композитор А. Рыбников написал на ее сюжет музыку, в которой завороженно оркестровал историю России, вечную и нынешнюю. В 1981 г. опера поставлена М. Захаровым в Театре им. Ленинского комсомола.

Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории, труд автора был ненапрасен.

ОПИСАНИЕ

в сентиментальных документах, стихах и молитвах
славных злоключений Действительного Камер-Герра
НИКОЛАЯ РЕЗАНОВА,
доблестных Офицеров Флота Хвастова и Довыдова,
их быстрых парусников «Юнона» и «Авось»,
сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо,
любезной дочери его Кончи
с приложением карты странствий необычайных.

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству зделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Консепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность начали неприметно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечасно сближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву
17 июня 1806 г.
(ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из Россиян здесь бродить так сказать по ножевому острию...»

Н. Резанов — директорам Русско-амер. компании
6 ноября 1805 г.

«Теперь надеюсь, что „Авось“ наш в Мае на воду спущен будет...»

От Резанова же 15 февраля 1806 г.
Секретно

ВСТУПЛЕНИЕ

«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овес.
Трави, Муза, пускай худо,
но нашу веру зовут «Авось»!

«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше барщина и Фонвизины,
а у нас весенний девиз «Авось»!

Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звезд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!

Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».

У нас ноль шансов против тыщи.
Крыш-ка!
Но наш ноль — просто красотища,
Ведь мы выживали при «минус сорока».

Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплытье провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!

Когда ж наконец откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «Авось».

I. ПРОЛОГ

В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!
Доченька губернаторская
спит у русского на плече.

И за то, что дыханьем слабым
тельный крест его запотел,
Католичество и Православье,
вздев крыла, стоят у портьер.

Расшатываются устои.
Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым
пьют и крестятся до утра.

II

Хвастов: А что ты думаешь, Довыдов...
Довыдов: О происхожденье видов?
Хвастов: Да нет...

III

(Молитва Кончи Аргуэльо — Богоматери)

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней

Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Матерь-заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,
что как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днем — дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,
дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что сын твой издох!..»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

IV

Хвастов: А что ты думаешь, Довыдов...
Довыдов: Как вздернуть немцев и пиитов?
Хвастов: Да нет...
Довыдов: Что деспóты
не создают условий для работы?
Хвастов: Да нет...

V

(Молитва Резанова — Богоматери)

«Ну что тебе надо еще от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты музыка сада,
ну что тебе надо еще от меня?

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: „Ты темен“ — учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмышленыш и малое чадо...
Ну что тебе, мало уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

VI

Хвастов: А что ты думаешь, Довыдов...
Довыдов: О макси-хламидах?
Хвастов: Да нет...

Довыдов: Дистрофично
безвластие, а власть катастрофична?
Хвастов: Да нет...
Довыдов: Вы надулись?
Что я и крепостник и вольнодумец?
Хвастов: Да нет. О бабе, о резановской.
Вдруг нас американцы водят за нос?
Довыдов: Мыслю, как и ты, Хвастов, —
давить их, шлюх, без лишних слов.
Хвастов: Глядь! Дева в небе показалась,
на облачке.
Довыдов: Показалось...

VII

(Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 г.)

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги,
после радужной севрюги,
апельсинами в вине обносили не?
как лиловый поп в битловке,
под колокола былого,
кольца, тесные с обновки
с имечком на тыльной стороне, —
нам примерил не?
а Довыдова с Хвастовым,
в зал обеденный с восторгом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не?

а мамаша, удивившись, будто давленые вишни
на брюссельской простыне,
озадаченной родне, —

предъявила не
(лейтенантик Н
застрелился не)?
а когда вы шли с поклоном,
смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?

Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ РЕЗАНОВА Н. П.

(Комментируют арх. крысы — игреки и иксы)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

Н. Резанов — Н. Румянцеву

№ 2 ВТОРОЕ ПИСЬМО РЕЗАНОВА – И. И. ДМИТРИЕВУ

Любезный Государь Иван Иваныч Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настойку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые — старый сифилис.
Начинают театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.

Земли новые — табула раза.
Расселю там новую расу —
Третий Мир — без деньги и петли,
ни республики, ни короны!

Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при Дворе, посодействуй, —
на американочке женюсь...

ЧИН ИКС:
«А вы, Резанов,
из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3 ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ гг. ДОВЫДОВА И ХВАСТОВА

Были петербуржцы — станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном — два костра.
Одного — на небо, другого — в карцер!
После сатисфакции — два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!
Враги вечные на братство венчаны.
И оба — к Резанову, на Дальний Восток...

ЧИН ИГРЕК:
«Засечены в подпольных играх».

ЧИН ИКС:
«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 г. Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х....., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезнаго и любезнаго человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно Юнону и сколь скоро купил, то зделал его начальником и в то же время написал к нему Мичмана Довыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил $9^1/_2$ ведр французской водки и $2^1/_2$ ведра крепкаго спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров. Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из Второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 г. Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядами окруженных».

Резанов — министру коммерции

РАПОРТ

Мы — Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.
Прикажите — в сто стволов
жахнем латинянам!

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Довыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

Резанов

«18 октября 1807 г. Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни Лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смертного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку.

Вот картина моего состояния! Вот награда, есть ли не услуг, то по крайней мере желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Довыдов».

(Выписка из «Донесения Мичмана Довыдова на квартире уже под политическим караулом»)

№ 4 В ТЕМНИЦЕ

Довыдов: А что ты думаешь, Хвастов?..
Хвастов: Бухарин! Сука! Враг Христов!
Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!
Довыдов: Тсс... Стражник передаст...
Хвастов: Хрен! Скот! Мы, офицеры, страждем!
Эй, стражник!
Нажрался паразит. Разит.
Стражник: С-ик тран-зит...
Восток алеет. Помолись.
Хвастов *(бледнеет)*: Это мысль.
О, Дева, в ризах как стеклярус!
Ты, что к Резанову являлась!
(Мы на Тебя не слали кляуз,
мы за Тебя интриговали
против американской крали.)
Спаси невинных индивидов!..
(В ужасе.) Гляди, Довыдов.
Распались цепи. Стража отвалилась.
Дверь отворилась.
И кони у крыльца в кибитке...
Голос: Бегите!
По трассе будущей Турксиба.
Довыдов и Хвастов: Спасибо!
(Бегут.)
Довыдов: Зер гут.
Религия не лишена основ.
А? Что ты думаешь, Хвастов?

№ 5

МНЕНИЕ КРИТИКА ЗЕТА:
От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернется!

МНЕНИЕ ПОЭТА:
Перевернется — значит, оживет.
Живи, Резанов! «Авось», вперед!

№ 6

ЧИН ИГРЕК:
Вот панегирик:
«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на 10 лет дольше, то, что мы называем сейчас Калифорнией и Американской Британской Колумбией были бы русской территорией».

Атертон (США)

ЧИН ИКС:
Сравним, что говорит вам Головнин:
«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную и создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер
В. М. Головнин

ЧИН ИКС:
«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот Иск».

№ 7 ИЗ ПИСЬМА РЕЗАНОВА – ДЕРЖАВИНУ

Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, что не Державин,
но любопытен по терзаньям:

«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Увечный
наш бренный разум цепляется за пирамиды,
статуи, памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше —
но далее ни черта!
Я — последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цифиризации
культура — позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать ее,
а назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны назвать свадьбою,
да еще кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-америко-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои
были вздорные.
Сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо
вздернули.
Вот это будет тот еще памятник!»

№ 8

«16 августа 1804 г. Я должен так же Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более нежели 30-ть человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянье, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Н. Резанова — Императору)

ЧИН ИКС:
«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»

(если глянуть в ее окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские
из поющего хрусталя,
ведешь влево — поют «Марсельезу»,
ну а вправо — «Храни короля»,

принесите три самых желания,
что я прятал от жен и друзей,
что угрюмо отдал на заклание
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий,
в дымке золота, как пыльца,
и, облив самогоном, —
сожгите
у надменных дверей дворца!

«...они прибегнули к Миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что соглашено с тем, чтоб до разрешения Папы было сие тайною».

№ 10

ЧИН ИКС:
«Еще есть образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»

«Я представлял ей край Российской посуровее и притом во всем изобильной, она была готова жить в нем...»

№ 11 РЕЗАНОВ – КОНЧЕ

Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.

Там храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.

Их ночная вода поила
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомленные небеса.

Через год мы вернемся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, Папа и твой отец!

VIII

(В Сенате)

Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взревновали. Позабыли.
Господи,
благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.

IX

(Молитва Богоматери — Резанову)

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восьмисотая весна!
Матерь от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарожденной
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо дух —
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаяние!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!

Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любою из марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!

ЭПИЛОГ

Спите, милые, на шкурах росомаховых.
Он погибнет
в Красноярске
через год.
Она выбросит в пучину мертвый плод,
станет первой сан-францисскою монахиней.

1970

АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ

АРХИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

В 1958 году в стихотворении «Прадед», описывая Полисадова, я наивно знал лишь наше семейное предание о нем. Что я знал тогда?

ПРАДЕД

Ели — хмуры.
Щеки — розовы.
Мимо
Мурома
мчатся розвальни.

Везут из Грузии!
(Заложник царский.)
Юному узнику
горбиться
цаплей,
слушать про грузди,
про телочку яловую...
А в Грузии —
яблони...
(Яблонек завязь
гладит, маня.
Чья это зависть
глядит на меня?!)
Где-то в России
в иных временах,
очи расширя,
тощий монах
плачет и цепи нагрудные гладит...

Это мой прадед.

Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты.

«Прапрапрадед твой — Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого — не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в военной гимназии, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: „Грузины приехали...“ Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла его „грузинский деспот“».

Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя «а-ля Андроников», только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом — поэте ли, историческом персонаже, — а речь шла о тебе, о твоем прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, — Благовещенский муромский собор на Посаде, ныне действующий.

В ограде я обнаружил чудом уцелевшее, не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями — «со слезой». Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью — цвет камня всегда был иным. То был аметистовым, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени?

Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен.

Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей был связан и с Грузией, и с Россией. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и первый распространил там христианство.

Летопись «Картлис цховреба», грузинская жемчужина, повествует, как он «перешел гору железного креста». Далее летописец прибавляет: «Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем» (с. 42).

О том же мы читаем в древнеславянском шедевре — Повести временных лет: «...въшедъ на горы сия, благослови я́, и постави

крестъ...» По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест Андреевского флага осенял моря империи.

Кстати, в Повести временных лет мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени «мурома».

Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. Будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны. Однако имя его таинственно изымается из печати. Даже в «Провинциальном российском некрополе», составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя Полисадова, обозначенное в оглавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц.

У Брокгауза и Ефрона можно прочитать, что названый брат Полисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. О нем же увлеченно пишет Ал. Бенуа в недавно изданных у нас мемуарах.

Андрей Полисадов был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в 30-е годы отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные.

Сохранились стихи Полисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими — «птах» аукался с грузинским «прта», «тьма» (то есть десять тысяч) отзывалось «тма», «лар» — «ларец»... Суздальская речушка Кза серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты, так же как это делали имеретинские крестьяне. А на второй день Пасхи на могилы здесь клали красные яйца и плескали вино — все возвращало к обычаям его края.

Музыка была его отдохновением. И опять в трехголосном песнопении ностальгически слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. «И может быть, — думалось ему, — полифонные „ангелоподобные“ хоры донеслись к нам не от греков, чье пение унисонное, а от грузин, а к тем — от халдов?»

В 80-е годы Полисадов покровительствовал исканиям неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый «гармонический звон в колокола», названный им с вызовом — «самозвоном», и взял фа-

ната в свою обитель. И не без влияния Полисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, подалась в изучение археологии Кавказа. Неукротимый характер его сказался в решительной перестройке собора.

Несколько раз в своей рукописи Полисадов возвращается к арке, пробитой им в северной стене храма. И сейчас она поражает смелостью. Арка — в полстены, она напоминает распахнутые пропорции арки в Гелати. Эта решительная кривая выдавала в нем соотечественника будущих пространственных дерзаний Давида Какабадзе. Он пытался распахнуть, усовершенствовать свое заточение.

Да и назначение Полисадова в Муром было неслучайным. Муром в те времена был духовной целлой страны. При приближении Наполеона знаменитая Иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания «каждогодно 10-го сентября» происходил крестный ход от собора вокруг города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения Иверской в Москву в городе осталась живописная копия шедевра.

Но откуда взялась сама Иверская? Иверия — Грузия. Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами Иоанном и Евсимием в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, эта поэзия архивных списков, темных мест и откровений... И что бы я мог без помощи моих добровольных спутников по поискам — владимирского археографа Н. В. Кондаковой и москвича Б. Н. Хлебникова?

У меня хватает юмора понимать, что по прошествии стольких поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще, не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен.

Родня моей матери жила во Владимирской области. К ним я приезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда доила, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Родители ее были еще крепостными Милославских. Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Так же дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены и остывающая печь, в которой томились кринки с коричневой корочкой топленого молока. Золу заме-

тали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного со щемящим запахом провинции. Вносили керосиновую лампу. Перед ней, колыхаясь, бежали тени. Над высоким стеклом струйкой дрожал нагретый воздух. Сладко дурманя, пахло нагаром фитиля. Мне, продукту многоэтажного города, это было уже чужим, но непонятно тянуло.

О ставни по-кошачьи терлась сирень.

И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрынкина, хранителем которого он является, рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк струился слегка женственными изысканными длинными завитками.

Было от чего оцепенеть!

Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено, не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляра огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории. Есть созвездия совпадений.

Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонтенок, откопанный бульдозеристами тем же летом.

Оказывается, ровно сто лет назад, 18 июня 1877 года в Муроме, исследуя церковь, построенную Бармой и Постником, будущими строителями Василия Блаженного, или, как теперь считают, постником Бармой, археолог граф А. С. Уваров раскопал останки мамонта, о чем во «Владимирских губернских ведомостях» за 26 августа 1877 года напечатал статью Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка.

История посылала сигналы. Все взаимосвязывалось. И связи эти — не книжный начет, не умствующая кабалистика, не мистицизм, имя им — жизнь человеческая. Жизнь эта и есть поэзия.

ПРОЛОГ

Взойдя на гору, основав державу,
я знал людскую славу и разор.
В чужих соборах мои кони ржали —
настало время возводить собор.

Немало в жизни видел я чудовищ.
Они пойдут на каменный узор.
Чтоб было где хранить потомкам овощ,
настало время возводить собор.

Меж правого и левого базара
я оставался все-таки собой.
В архитектуре главное, пожалуй,
не выстроить, а выстрадать собор.

Начало будет в Муроме покамест,
Казбек от его звона задрожит.
Положен во главу лиловый камень.
Под этим камнем человек лежит.

«Ваш прах лежит второй за алтарем», —
сказал мне краевед Золотарев.

I

В лето седмь тысяшь шесть десят первом году Государь и Великий князь Иоанн Васильевич IV вся Русии приде во град Муром и молятеся в первоначальной церкви Благовещенья (деревянной), помощи прося со слезами: «Аще град Казань возьму, аз повелю здъ устроить храм каменный Благовещения». Государь Казань взял и того же году, в лето, прислал в Муром каменщиков.

«Житие Константина, Феодора и Михаила, муромских чюдотворцев»
(древнерусская повесть XVI в., со списка,
хранящегося в Муромском музее, к-7165, мм-30152)

...собор основан в 1555 г. близ берега Оки. Называлось же место это Посадом. В память пребывания в соборе в 1812 г. Московской Иконы Иверской Б М установлено празднество каждогодно 10-го сентября.

Из описания А. Полисадова мая 31 дня 1887 г.

Кто ты родом, Андрей Полисадов?
Почему, безымянный заложник,
малолетнее чадо,
привезен во Владимир с Кавказа?
Значит, надо. В архивах не сказано.
(Шла война. Мятежи грозили.
И царевич бежал к безбожникам[1].)

Его спешно усыновили,
дали имя: Андрей Полисадов.
Домом стал Собор на Посаде.
«Кто я?! Кто?!» — взвоет выросший ссыльный.
Утешает собор его: «Сын мой...»

---

[1] «Грузинский царевич Александр Баграт через Турцию бежал к шаху» (*Дубровин Н.* История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1886 — из библиотеки Полисадова).

II

«Господи, услышь меня, услышь мя, Господи!..

На границе Горьковской и Владимирской области
я стою без голоса, в неволю отданный,
родина, услышь меня, услышь мя, родина!
Назови по имени, пошли горных коз пасти.
Ты ж сама без голоса. Услышь ее, Господи...»

И летят покойники и планеты по небу —
«кто-нибудь, услышь меня, услышь мя, кто-нибудь...»
Я же твой ребенок, ты ж не злоумышленник.
Мало быть рожденным, важно быть услышанным.
Смыслы всех мятежников, взрывы современщины:
«Женщина, услышь меня, услышь мя, женщина...»

«Это я, Господи! Услышь мя, Господи!» —
на углу Горького и Маяковского
ты кричишь мне, нищая, в телефонной хижине:
«Господи, услышь меня, Господи, услышь меня!»

И тебе история вторит фразой горскою:
«Господи, услышь меня, услышь мя, Господи...»

III

Полисадов Андрей (Алексий), год окончания 1834, по 1-му разряду, 5-му нумеру, 1836 — свящ. с. Шиморского, 1866 — Москва, 1-го класса, Новоспасский монастырь, 1882 — Благовещенский Муромский монастырь.

Малицкий Н. В. История Владимирской Духовной семинарии (выпуск 2-й)

С 1882 г. Благовещенский собор управлялся архимандритами (первым был Полисадов).

Травчатов Н. В. Город Муром и его достопримечательности (Владимир, 1903)

Русифицированного мцыри
в семинарии учат на цырлах.
В восемьсот тридцать пятом женился.

Его ждал Собор на Посаде.
Темной мыслью белых фасадов
стал он. Плен не переменился
оттого, что купцы прикладывались
к кольцу с тоскливым аквамарином.

Умер муромским архимандритом.
Отвлеклось родословное древо.
Его дочка, Мария Андреевна,
дочь имела, уже Вознесенскую,
мою бабку, по мужу земскую.
Тут семейная тайна зарыта.
Времена древо жизни ломали.
Шарил семинарист знаменитый —
в чьих анкетах архимандриты?
У нас в доме икон не держали,
но про деда рассказ повторяли.
И отец в больничных палатах
мне напомнил: «Андрей Полисадов».

Прибыл я в целомудренный Муром.
Город чужд экскурсантам и турам.
Шел июль. Сенокосы духмяные.
За Окою играли Тухманова.
Шли русалочки со смешочками,
огурцы уплетая сочные.
По тропинке меж дикой малины
поднималась к собору мешочница
на горбу со своею могилой.

Там я встретил Золотарева.
«Жду вас. Ваша могила готова.
Ваше тело сто лет без надзора.
Дело ваше! Я б начал с собора».

Мое тело меня беспокоит.
В нем какой-то позыв беззаконный.

IV

Муром целомудренный. Над Окой хрустальной
посидите тайно.

Не забаламутьте вечер отошедший.
Чтите целомудренность отношений.

Не читайте почты, вам не адресованной,
не спугните чувства вашего резонами,

не стучите дворником в окна к ласкам утренним,
все двоим дозволено — если целомудренно.

Эта целомудренность отношения
по лесам кому-то говорит отшельничать,

там нельзя охотиться, там стоял Суворов,
соловьи обходятся без суфлеров.

Мудрость коллективная хороша методою,
но не консультируйте, как любить мне родину.

(И когда усердные патриоты мнимые
шлют на нас публичные доносы анонимные,
просто из брезгливости природной
не полемизирую с оборотнем.)

У любви нет опыта, нету прегрешения,
только целомудренность отношения.

V

«Нет ли в ризницах церковных старинных омофоров, саккосов, фелоней, епитрахилей, палиц, стихарей, орарей, мантий и власяниц?» — «Нет. Кроме четырех княжеских шапочек. Они малинового бархата, шиты золотом и серебром».

Из рукописных ответов архимандрита А. Полисадова на вопросник Академии художеств мая 31 дня 1887 г.

Сохранилась соборная опись.
Почерк в усиках виноградных
безымянного узника повесть
заплетал на фасад и ограды.

«8 старых опор. 8 поздних.
Консультировал Барма и Постник»[1].
И ложился в архив синодальный
Муром с привкусом цинандали.

«Пол чугунный и пол деревянный,
называю вас, сам безымянный!»
Византийские ризы расшили
птицы будущего Гудиашвили.
В этом перечислении скорбном,
где он пел золотую тюрьму,
я читал восхищенье соборам
и неясные счеты к нему.

«Не имеются ль мощи изменников?
Сколько окон? Живая ль вода?»
«Не имеется.
Жизнь — одна».
«Матерь Иверская, икона,
эвакуированная от Наполеона,
мы судьбой с тобой схожи, товарка.
Так же будешь через столетье,
нянча сына, глядеть в лихолетье
из проема в вагоне товарном.

Когда край мой с моей колокольни
возвещает печаль и успехи,
из второй моей родины, горной,
через час возвращается эхо.
Кто ты родом, костыль палисандровый?»
«Помолись за меня, Полисадов...»

«Я молюсь за царя Александра,
что когда-то лишил меня имени.
Тяготят теперь имя и сан его.
Хочет он безымянную схиму.
Спор решает душа, не топор».
«Да, отец», — отвечает собор.

[1] «Ступенчатый тромп колокольни свидетельствует, что в Муроме работали Барма, Постник или кто-либо из членов их артели» (*Воронин Н. Н.* Сборник работ. Л., 1929).

Так толкуют в своем разладе
дух смиренный и дух злорадный:
«Погоди, Собор на Посаде!» —
«Подожду, Андрей Полисадов».

Как сейчас они сходны судьбою!
Человек, одинокий в соборе,
и собор, одинокий в истории,
и История — в мертвых просторах.
Завитую пожарскую чашу[1]
оплетал виноград одичавший.
Завитком зацепилась усатым
подпись бледная: «Полисадов».

VI

Почему он бежать не пытался?
Не из страха ж или конвоя?
Полюбил он лес за Окою,
это поле с немым укором,
где тропинка — прямым пробором,
как у всех его прихожанок.
Полюбил он хмурую паству,
русых узников государства.
Утешая печалей толпы
в двух церквах, холодной и теплой,
разделенных стеной допотопной,
вдруг он понял, что в них нуждался,
в них он бóльшую боль увидел,
чем свою. И для них остался.

Ежедневно он шел к ограде,
в пояс кланяясь эху фасадов:
«Добрый день, Собор на Посаде». —
«Добрый день, Андрей Полисадов».

[1] «Чаша водосвятная красной меди, под рукоятью вычеканены слова: „Лета 7147 июля 17-го сию чащу очищения приложил для Благовещения Пресвятой Богородицы, что в Муроме на Посаде, Боярин Князь Дмитрий Михайлович Пожарский“ (из ответов А. Полисадова). Сейчас чаша эта экспонирована в Муромском музее. Полисадов ошибся: она из сплава олова.

Обмирала со свечкой школьница —
глаза странные, золотые...
Это первое чувство молится!
Он ее ощущал затылком.
Он томился перед собором,
золотым озаренный взором.
Но когда совратитель исподволь
прошептал ему что-то площадно,
он избил его среди исповеди,
сломал посох и крикнул: «Прощаю!»
После сутки лежал на плитах.
Не шутите с архимандритом.

VII

Подари мне милостыню, нищая Россия,
далями холмистыми, ношей непосильной.

Подвези из милости, грузовик бродячий,
подари мне истину: бедные — богаче.

Хлебом или небом подарите милостыню,
ну а если нету, то пошлите мысленно.

Те, над кем глумились, нынче стали истиной.
Жизнь — подарок, милостыня.
Раздавайте милостыню!

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
то щедрее это платьев Сен Лорана.

VIII

В 1979 г. реставрированы интерьеры, колокольня ныне действующего Благовещенского собора.
Из ведомости

Реставраторы волосатые!
Его дух вы стремитесь вызвать.
Голубая тоска Полисадова
в ваши пальцы въелась, как известь.

Эти стены — посмертная маска
с его жизни, его печали —
словно выпуклая азбука,
чтоб слепые ее читали.
Муромчанка с усмешкой лисьей
мне шепнула, на свечку дунув:
«Новый батюшка — из Тбилиси».
«Совпадение», — я подумал.
Это нашей семьи апокриф
реставрировался в реальность.
Не являюсь его биографом,
но поэтом его являюсь.
Эхо прячется за колонною,
словно девочка затаенная.
Над строительными лесами
слышу спор былых адресатов:
«Погоди, Собор на Посаде!» —
«Подожду, Андрей Полисадов!»

IX

Реставрируйте купол в историческом кобальте!
Реставрируйте яблоню придорожную в копоти.
Реставрируйте рыбу под мазутными плавнями.
Возвратите улыбку на губах, что заплакали.
Возродите в нас совесть и коня Апокалипсиса.
Реставрируйте новое, что живое пока еще!
Что казалось клиническим с точки зренья приказчика,
скоро станет классическим, как сегодня Пикассо.
Чистый вздох стеклодувши из глуши гусь-хрустальной
задержался в игрушке модернистки кустарной,
чтобы лет через тыщу реставратор дотошный
понял вечную душу современной художницы.

X

Он остался в архивах царевых,
в подсознанье Золотарева.

Он живет по Урицкого, 30.
В доме певчие половицы.
Мудр хозяин, почти бесплотен,
лет ему за несколько сотен.
Губы едкие сжаты ниточкой.
Его карий взгляд над оправой,
что похожа на чайное ситечко,
собеседника пробуравит.
Пимен нынешний не отшельник,
я б назвал его пимен-общественник.
Он спасает усадьбу Некрасова,
окликая людей многоразово
от истицы Истории имени.
Бескорыстно-районные пимены!
Боли, радости, вами копимые,
ваша память — народная совесть.
Я ему рассказал свою повесть.
«Полисадов?» — он спросит ехидно,
лба морщины потрет, словно книгу.
И из недр его мозга с досадой
на меня глядел Полисадов.

Профиль смуглый на белом соборе,
пламя темное в крупных белках,
и тишайшее бешенство воли
ощущалось в сжатых руках.
(Вот таким на церковном фризе,
по-грузинскому царебровым,
в ряд с Петром удивленной кистью
написал его Целебровский[1].)
Но не только в боренье с собою, —
посох сжав, побелела рука —
в каждодневном боренье с собором.
Он в нем с детства видел врага.

В нем была бы надменность и тронность,
если бы не больные глаза

[1] *Целебровский П. И.* (1859–1921) — художник 1-го класса, расписывал собор по заказу Полисадова (см.: *Кондаков Н.* Словарь русских художников).

и посадки грузинская стройность,
что всегда отличала отца.
«Что тебе, бездуховный отпрыск?» —
как бы спрашивал хмурый образ.
Но материализм убеждений
охранял меня от привидений.
Молодая жена Валентина
чай подаст и уложит сына.
Долог спор об усадьбе Некрасова
и о том, что история — классова.

XI

Как Россия ела! Семга розовела,
луковые стрелы, студень оробелый,

красная мадера в рюмке запотела,
в центре бычье тело корочкой хрустело, —

как Россия ела! — крабов каравеллы,
смена семь тарелок — все в один присест,

угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
Ева змея съела, яблочком заела,

а кругом сардели на фарфоре рдели,
узкие форели в масле еле-еле,

страстны, как свирели, царские форели,
стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,

мясо в центре пира, а кругом гарниры —
платья и мундиры, перси и ланиты,

а кругом гарниры — заливные нивы,
соловьи на ивах, странники гонимые,

а кругом гарниры — Господи, храни их! —
сонмы душ без имени...
позабывши перст,

ест дворянский округ, а в окошках мокрых
вся Россия смотрит, как Россия ест.

XII

Я твою читаю за песнью песнь:
«Паче всех человек окаянен есмь».
Для покорных жен, для любовных смен
«Паче всех человек окаянен есмь».
Говорящий племянник зверей и рощ,
я единственный в мире придумал ложь.
Почему на Оке от бензина тесьмь?
Паче всех человек окаянен есмь.
Опозорен дом, окровавлен лес,
из истории стон, из Гайаны — весть,
но кто кинет камень, что чист совсем?
В одного камнями кидают семь.
Но, отвергнув месть, как пройдя болезнь,
человек за всех неприкаян есмь —
ставя храм Нерли, возводя Хорезм,
человек за всех покаянен есмь.
Почему ж из всех обезьян, скотин
осиянен есмь человек один?
Ибо «Песней песнь» — человечья песнь.
Человек за всех богоявлен есмь.

XIII

Это было в марте, в вербном шевелении.
«Милый, окрести меня, совершеннолетнюю!

Я разделась в церкви — на пари последнее.
Окрести язычницу совершеннолетнюю.

Я была раскольницей, пьянью, балериной.
Узнаешь ли школьницу, что тебя любила?

Глаза — благовещенские, желтые, янтарные...
Первая из женщин я вошла в алтарную.

От толпы спасут меня сани шевролетные...
Милый! Окрести меня, совершеннолетнюю!

Я люблю твой голос, щеки в гневных пятнах,
буду годы, годы тайная жена твоя.

На снегу немыслимом, схваченная платьем,
встану с коромыслом — молодым распятьем!

Я пришла дать волю и раскрепощенье.
Я тебя простила, слепой священник...

Завтра в шали черной вернусь грех отмаливать.
Врежется в плечо мне перстень твой эмалевый.

„Любишь! любишь! любишь!“ — прочту во взорах...»
Содрогнулось чудище пустого собора.

XIV

В 1882 г. чугунный пол заменен на деревянный, щитовой, главы покрыты железом и крашены медянкой, пробита арка для соединения храма с теплой церковью, клиросы отделены киотами, стены заново покрыты живописью.

Из описания Полисадова

...были заподозрены в разброске прокламаций два послушника Благовещенского монастыря.

Из «Донесения Влад. Губернского Жандармского Управления»

Он случившимся тяготился,
золотой заложник истории!
В середине шестидесятых
он от дел мирских удалился.
Сбросил имя. Стал Полисадов
настоятелем Алексием.

Настоятель был прогрессивен.
Сгоряча собор перестроил.
Церковь теплую свел с холодной
аркой циркульной, бесколонной,
полстены проломив при народе.
Арка ахнула переходная
как глубокий вздох о свободе!
А над аркой, стену осиля,
повелел написать Алексия.
И сказал, как в зеркало глядя:
«Чья взяла, Собор на Посаде?»

Задержалось эхо с ответом.
Человек расквитался с историей.
Он стоял, свободы отведав.
Был он воин. Он был мужчина.
Распрямилась жизни пружина.
Звал художников[1]. Знался с Уваровой[2].
Своим весом спасал арестованных.
Например, когда пару монахов
(Агофангела и Евлахия)
обвинили в расклейке листовок.
Было страху!
Революция только заваривалась.
Но уже завезли в ограду
камень редкого лабрадора
цвета выцветшего граната —
камень с именем «Полисадов».
И Уварова губы кусала.
И вздохнуло эхо фасадов:
«Чья взяла, Андрей Полисадов?»

Похоронен он у Собора
на Посаде.

---

[1] Магдалина, что обмирала, вышла в Омске за генерала.

[2] *Уварова* Прасковия Сергеевна — графиня, жила под Муромом, с 1884 г. председательница Императорского Археологического общества, автор 174 работ, в том числе «Могильники Сев. Кавказа». Была инициатором реставрации храма Свети Цховели (Историческая энциклопедия).

XV

Чья ты маска, Андрей Полисадов, —
дух мятежный семьи Багратов?
друг и враг шамхала Тарковского?
христианский варьянт мюрида?
на соборной стене осадок?
Золотой мотылек бестолковый
залетел на твой светоч адов.
Ты в миру «Андрей Полисадов»,
а до мира, а после мира?
Смысл бессмертный и безымянный,
что хотел ты в земных времянках,
став Андреем и Алексием?
Почему из людского стада
духи Грузии и России
тебя выбрали, Полисадов?
Почему против воли пиита
то анафемою, то стоном
голос муромского архимандрита,
словно посох, рвет микрофоны?
И влечет меня, и влечет меня
что-то горнее, безотчетное,
гул низинный вершин грузинских...
Может, мне Каландадзе кузина?

XVI

Ты прости мне, Грузия, что я твой подкидыш.
Я всю жизнь по глупости промолчал. Как примешь?

Бьется струйка горная в мою кровь равнинную.
Но о крови вспомним мы, только в грудь ранимые.

Вот зачем отец меня брал на ГЭС Ингури,
где гора молитвенна, как игумен.

Эта кровь невольная в моих темных жилах
вместо «вы» застольного «мы» произносила.

«Наши!» — говорю я, ощущая пульсом,
как мячи пульсируют в сетку ливерпульцам.

Это наши пропасти, где мосты мизинцами,
это наши прописи рыцарства грузинского.

Может, есть отдельные короли редиса,
но делился витязь шкурою единственной

с Александром Сергеевичем, Борисом Леонидовичем,
тер щекой сердечною мокрые ланиты.

Вновь ночные фары — может, мои кровники —
на горе рисуют полосы тигровые.

И какой-то тайною целомудренной
тянет сосны муромские к пицундовским.

XVII

Когда сердце устанет от тины
или жизнь моя станет трудней,
календарь на часах передвину
на тринадцать отвергнутых дней —
перейду из Пространства во Время,
где Ока и тропинка над ней.

И тогда безымянный заложник
выйдет в сумерках на косогор,
как слепую белую лошадь,
он ведет за собою собор.
И, обнявши за белую шею,
что-то шепчет на их языке —
то, о чем рассказать не сумею.
А потом они скрылись к реке.

ЭПИЛОГ

Мой муромский мюрид, простимся, мой колодник!
Я обещал собор. Я выстрадал собор.
Меж теплой стороной и стороной холодной
сквозит в стене дыра, пробитая тобой.

Я говорю с тобой из теплого собора.
Зачем второй раз жить? А первый раз зачем?
Лампадкой ты горишь в мозгу Золотарева,
в мозгу моих друзей, читателей поэм.

Любая жизнь — собор. В моей — живые башни.
Одну зову я «Ты», другую — «Родион»,
и безымянный звон над башней самой зряшной,
собор — не Пантеон.

Распущен мой собор на волю, за грибами.
Горюют, пьют, поют. Назначен в сердце сбор.
Одна из башенок мотор разогревает.
Все это мой собор.

Меньшую башенку экзаменатор топит.
По баллам недобор для нашенских сорбонн.
Но в сердце у нее тысячелетний опыт —
куда профессору!
Все это мой собор.

Броди́те по земле, соборы нового типа!
Между собой моей вы связаны судьбой.
За счастье вас любить — великое спасибо.
И это мой собор.

Пускай летят в собор напрасные каменья.
Из праздных тех камней сработаем забор.
Живу я как пою — пою я как умею.
Свобода — мой собор.

Однажды ошибаются саперы.
Шумит любовью жизнь. Но не лови ворон.
Горят огни лампад вселенского собора,
и без лампад огни в соборе, во втором.

1979

РОВ

Духовный процесс

ПОСЛЕСЛОВИЕ

7 апреля 1986 года мы с приятелями ехали от Симферополя по Феодосийскому шоссе. Часы на щитке таксиста показывали 10 утра. Сам таксист, Василий Федорович Лесных, лет эдак шестидесяти, обветренно-румяный, грузный, с синими, выцветшими от виденного глазами, вновь и вновь повторял свою тягостную повесть. Здесь, под городом, на 10-м километре, во время войны было расстреляно 12 тысяч мирных жителей, главным образом еврейской национальности.

«Ну мы, пацаны, мне десять лет тогда было, бегали смотреть, как расстреливали. Привозили их в крытых машинах. Раздевали до исподнего. От шоссе шел противотанковый ров. Так вот, надо рвом их и били из пулемета. Кричали они все страшно — над степью стон стоял. Был декабрь. Все снимали галоши. Несколько тыщ галош лежало. Мимо по шоссе ехали телеги. Солдаты их не стеснялись. Солдаты все пьяные были. Заметив нас, дали по нас очередь. Да, еще вспомнил — столик стоял, где паспорта отбирали. Вся степь была усеяна паспортами. Многих закапывали полуживыми. Земля дышала.

Потом мы в степи нашли коробочку из-под гуталина. Тяжелая. В ней золотая цепочка была и две монеты. Значит, все сбережения семьи. Люди с собой несли самое ценное. Потом я слышал, кто-то вскрывал это захоронение, золотишко откапывал. Два года назад их судили. Ну об этом уже вы в курсе...»

Я не только знал, но и написал поэму под названием «Алчь» об этом. Подспудно шло другое название: «Ров». Я расспрашивал свидетелей. Оказавшиеся знакомые показывали мне архивные документы. Поэма окончилась, но все не шла из ума. Снова и снова тянуло на место гибели. Хотя что там увидишь? Лишь заросшие километры степи.

«...У меня сосед есть, Валя Переходник. Он, может, один из всех и спасся. Его мать по пути из машины вытолкнула».

Вылезаем. Василий Федорович заметно волнуется.

Убогий, когда-то оштукатуренный столп с надписью о жертвах оккупантов осел, весь в трещинах и говорит скорее о забвении, чем о памяти.

«Запечатлимся?» Приятель расстегнул фотоаппарат. Мимо по шоссе несся поток МАЗов и «жигулей». К горизонту шли изумрудные всходы пшеницы. Слева на взгорье идиллически ютилось крохотное сельское кладбище. Ров давно был выровнен и зеленел, но угадывались его очертания, шедшие поперек от шоссе километра на полтора. Белели застенчивые ветки зацветшего терновника. Чернели редкие акации.

Мы, разомлев от солнца, медленно брели от шоссе.

И вдруг — что это?! На пути среди зеленого поля чернеет квадрат свежевырытого колодца; земля сыра еще. За ним — другой. Вокруг груды закопченных костей, истлевшая одежда. Черные, как задымленные, черепа. «Опять роют, сволочи!» — Василий Федорович осел весь.

Это было не в кинохронике, не в рассказах свидетелей, не в кошмарном сне — а здесь, рядом. Все только что откопано. Череп, за ним другой. Два крохотных, детских. А вот расколотый на черепки, взрослый. «Это они коронки золотые плоскогубцами выдирают».

Сморщенный женский сапожок. Боже мой, волосы, скальп, детские рыжие волосы с заплетенной косичкой! Как их туго заплетали, верно на что-то еще надеясь, утром перед расстрелом...

Какие сволочи! Это не литературный прием, не вымышленные герои, не страницы уголовной хроники, это мы, рядом с несущимся шоссе, стоим перед грудой человеческих черепов. Это не злодеи древности сделали, а наши, наши люди. Кошмар какой-то!

Сволочи копали этой ночью. Рядом валяется обломленная сигаретка с фильтром. Не отсырела даже. Около нее медная прозеленевшая гильза. «Немецкая», — говорит Василий Федорович. Кто-то ее поднимает, но сразу бросает, подумав об опасности инфекции.

Черепа лежали грудой, эти загадки мирозданья — коричнево-темные от долгих подземных лет, — словно огромные грибы-дымовики.

Глубина профессионально вырытых шахт — около двух человеческих ростов, у одной внизу отходит штрек. На дне второй лежит припрятанная, присыпанная совковая лопата, — значит, сегодня придут докапывать?!

В ужасе глядим друг на друга, все не веря. Как в страшном сне это.

До чего должен дойти человек, как развращено должно быть сознание, чтобы копаться в скелетах, рядом с живой дорогой, чтобы крошить череп и клещами выдирать коронки при свете фар. Причем даже почти не скрываясь, оставив все следы на виду, демонстративно как-то, с вызывом. А люди, спокойно мчавшиеся по шоссе, наверное, подшучивали: «Кто-то опять там золотишко роет?» Да все с ума посходили, что ли?!

Рядом с нами воткнут на колышке жестяной плакат: «Копать запрещается — кабель». Кабель нельзя, а людей можно? Значит, даже судебный процесс не приостановил сознания этой сволочи, и, как потом мне рассказывали, на процессе говорили лишь о преступниках, не о судьбе самих погребенных. А что глядит эпидемстанция? Из этих колодцев может полезть любая зараза, эпидемия может сгубить край. По степи дети бегают. А эпидемия духовная?

Не могилы они обворовывают, не в жалких золотых граммах презренного металла дело, а души они обворовывают, души погребенных, свои, ваши!

Свежий ландыш белеет в траве. Нагибаюсь. Это фаланги детского мизинца, вымытые прошлогодними дождями и паводками.

Милиция носится по шоссе за водителями и рублишками, а сюда и не заглянет. Хоть бы пост поставили. Один на 12 тысяч. Память людей священна. Почему не подумать не только о юридической, но и о духовной защите захоронения? Кликните клич, и лучшие скульпторы поставят стелу или мраморную стенку. Чтобы людей священный трепет пробрал.

12 тысяч достойны этого. Мы, четверо, стоим на десятом километре. Нам стыдно, невпопад говорим — что, что делать? Может, газон на месте разбить, плитой перекрыть и бордюр поставить? Да и об именах не мешало бы вспомнить. Не знаем что — но что-то надо делать, и немедленно.

Так я вновь столкнулся с ожившим позапрошлогодним делом № 1586.

Ты куда ведешь, ров?

ВСТУПЛЕНИЕ

Обращаюсь к читательским черепам:
неужели наш разум себя исчерпал?
Мы над степью стоим.
По шоссе пылит Крым.
Вздрогнул череп под скальпом моим.

Рядом — черный,
как гриб-дымовик, закопчен.
Он усмешку собрал в кулачок.

Я почувствовал
некую тайную связь —
будто я в разговор подключен, —
что тянулась от нас
к аппаратам без глаз,
как беспроволочный телефон.

— ...Алла Львовна, алло!
— Мама, нас занесло...
— Снова бури, помехи космич...
— Отлегло, Александр?
— Плохо, Федор Кузьмич...
— Прямо, хичкоковский кич!

Черепа. Тамерлан. Не вскрывайте гробниц!
Разразится оттуда война.
Не порежьте лопатой
духовных грибниц!
Повылазит страшней, чем чума.

Симферопольский не прекратился процесс.
Связь распалась времен?

Психиатра — в зал!
Как предотвратить бездуховный процесс,
что условно я «алчью» назвал?!

Какой, к черту, поэт ты, «народа глас»?
Что разинул свой каравай?
На глазах у двенадцати тысяч пар глаз
сделай что-нибудь, а не болтай!

Не спасет старшина.
Посмотри, страна, —
сыну мать кричит из траншей.
Окружающая среда страшна,
экология духа — страшней.

Я, куда бы ни шел,
что бы я ни читал, —
все иду в симферопольский ров.
И, чернея, плывут черепа, черепа,
как затмение белых умов.

И когда я выйду на Лужники,
то теперь уже каждый раз
я увижу требующие зрачки
двенадцати тысяч пар глаз.

РОВ

Не тащи меня, рок,
в симферопольский ров.
Степь. Двенадцатитысячный взгляд.
Чу, лопаты стучат
благодарных внучат.
Геноцид заложил этот клад.

— Задержите лопату!
— Мы были людьми.
— На, возьми! Я пронес бриллиант.
— Ты, папаша, не надо
костями трясти.
Сдай заначку и снова приляг.

Хорошо людям первыми
радость открыть.
Не дай бог первым вам увидать
эту свежую яму,
где череп отрыт.
Валя! Это была твоя мать.

Это быль, это быль,
это быль, это быль,
золотая и костная пыль.
Со скелета браслетку снимал нетопырь,
а другой, за рулем, торопил.

Это даль, это даль,
запредельная даль.
Череп. Ночь. И цветущий миндаль.

Инфернальный погромщик
спокойно нажал
после заступа на педаль.
Бил лопаты металл.
Кто в свой череп попал?
Но его в темноте не узнал.

Тощий, как кочерга,
Гамлет брал черепа
и коронок выдергивал ряд.
Человек отличается от червя.
Черви золото не едят.

Ты куда ведешь, ров?
Ни цветов, ни сирот.
Это кладбище душ — геноцид.
Степью смерч несется из паспортов.
И никто не принес гиацинт.

ЛЕГЕНДА

Ангел смерти является за душой,
как распахнутый страшный трельяж.
В книгах старых словес
я читал, что он весь
состоял из множества глаз.
И не знал ни Христос,
ни философ Шестов —
почему он из множества глаз?

Если ж он ошибался
(отсрочен ваш час) —
улетал. Оставлял новый взгляд.
Удивленной душе
он дарил пару глаз.
Достоевский так стал, говорят.

Ты идешь по земле,
Валентин, Валентин!

Ангел матери тебя спас.
И за то наделил
тебя зреньем могил
из двенадцати тысяч пар глаз.

Ты идешь меж равнин,
новым зреньем раним.
Как мучителен новый взгляд!
Грудь не в блеске значков —
в зрячих язвах зрачков.
Как рубашки шерстят!

Ты ночами кричишь,
видишь корни причин.
Утром в ужасе смотришь в трельяж.
Но когда тот, другой,
прилетит за душой,
ты ему своих глаз не отдашь.

Не с крылом серафим,
как виндсерфинг носим,
вырывал и врезал мне язык.
Меня вводит без слов
в симферопольский ров
ангел — Валя Переходник.

МАРИЯ ЯНОВНА

Звать ее Марья Янна. Гагарина, 6.
Ах, душа Марья Янна, несешь нам поесть!
Гиацинты растишь. Дочке Даше в войну
было 10. Окончила после филфак.
Хохотушка. Веснушки растила. Врача
полюбила. Их первенец Александр,
модно стриженный, как арестант,
стал поэтом. Вчера написала «ЛГ»:
«Новый Пушкин! Дождались мы наконец.
Правда, сложен. Но трудно попасть
на концерт».

Жизнь другого сынка непонятна пока,
основал он ансамбль «ДНК».
Марьи Яновны правнучка Анастаси...

...Словно поле-перекати,
череп Мария Яновна мчит по степи,
череп Дашенька — лет десяти.

АЛЧЬ. ПРЕЖНИЙ ПРОЛОГ

Вызываю тебя, изначальная алчь!
Хоть эпоха, увы, не Ламанч.
Зверю нужен лишь харч.
Человек родил алчь.
Не судья ему нужен, а врач.
Друг, болеет наш дух.
Ночью слышите плач?
Это страсть одиночек — алчь.

Алых Медичей плащ.
Острый рост недостачи.
Горит ресторан «Изба».
В лучших товарищах — метастазы —
алчба.

Не зарази меня черной кровью,
шприц спрячь,
страсть, соперничающая с любовью, —
алчь!..

— Это алчь, это алчь,
первородная алчь,
я нужна организму, как желчь,
на костях возвела я аркады палацц,
основала Канберру и Керчь.
Как надвинусь я, алчь,
все окутает мрачь,
будет в литературе помалчь...

Что богаче, чем алчь?
Слаб компьютер и меч.

Да и чем меня можешь ты сжечь?
— Только Речь, что богаче тебя, только Речь,
только нищая вещая Речь.
— Только Алчь. Только алчь,
бездуховная алчь.
Только «Ал», только «а!..», только «чь».
. . . . . .
— Только Речь, только Речь, изначальная Речь.
Как река, расправляется речь.

ДЕЛО

Ты куда ведешь, ров?

Убивали их в декабре 1941 года. Симферопольская акция — одна из запланированных и проведенных рейхом. Ты куда ведешь, ров, куда?

В дело № 1586.

«...систематически похищали ювелирные изделия из захоронения на 10-м километре. В ночь на 21 июня 1984 года, пренебрегая нормами морали, из указанной могилы похитили золотой корпус карманных часов весом 35,02 г из расчета 27 рублей 30 коп. за гр, золотой браслет 30 г стоимостью 810 руб. — всего на 3325 руб. 68 коп. ...13 июля похитили золотые коронки и мосты общей стоимостью 21 925 руб., золотое кольцо 900-й пробы с бриллиантом стоимостью 314 руб. 14 коп., четыре цепочки на сумму 1360 руб., золотой дукат иностранной чеканки стоимостью 609 руб. 65 коп., 89 монет царской чеканки стоимостью 400 руб. каждая... (т. 2, л. д. 65–70)».

Кто был в деле? Врач московского института АН, водитель «Межколхозстроя», рабочие, крановщик, два члена партии, местная шишка, прикативший на собственной «Волге», привезенной из загранкомандировки. Возраст 28–50 лет. Отвечали суду, поблескивая золотыми коронками. Двое имели полный рот «красного золота». Сроки они получили небольшие, пострадали больше те, кто перепродавал. Подтверждено, что получили они как минимум 68 тысяч рублей дохода. Одного спросили: «Как вы себя чувствовали, роя?» Ответил: «А что бы вы чувствовали, вынимая золотой мост, поврежденный пулей? Или вытащив детский ботиночек с остатком кости?» Они с трудом добились, чтобы скупка приняла этот бракованный мост.

Вопроса «преступить — не преступить» у них не было. Не найти в них и инфернального шика шалостей Геллы и Бегемота. Все было четко. Работенка доставалась тяжелая, ибо в основном лежали люди небогатые, так что промышляли больше коронками и бюгелями. Бранились, что металл скверной пробы. Ворчали, что тела сброшены беспорядочной грудой, трудно работать. Один работал в яме — двое сверху принимали и разбивали черепа, вырывали плоскогубцами зубы, — «очищали от грязи и остатков зубов», возили сдавать в симферопольскую скупку «Коралл» и севастопольскую «Янтарь», скучно торгуясь с оценщицей Гайда, конечно смекнувшей, что «коронки и мосты долгое время находились в земле». Работали в резиновых перчатках — боялись инфекции.

Коллектив был дружный. Крепили семью. «Свидетель Нюхалова показала, что муж ее периодически отсутствовал дома, объяснял это тем, что работает маляром-высотником, и регулярно приносил зарплату».

Духовные процессы научно-технического века породили «новый роман», «новое кино» и психологию «нового вора».

По аналогии с массовым «поп-артом» и декадентским «арт-нуово» можно разделить сегодняшнюю алчь на «поп-алчь» и «алчь-нуово». Первая попримитивнее, она работает как бы на первородном инстинкте, калымит, тянет трояк в таксопарке у таксиста, обвешивает. Вторая — сложнее, она имеет философию, сочетается с честолюбием и инстинктом власти.

В первый день процесса, говорят, зал был заполнен пытливыми личностями, внимающими координатам захоронения. На второй день зал опустел — кинулись реализовывать полученные сведения.

Лопаты, штыковые и совковые, прятали на соседствующем сельском кладбище.

Копали при свете фар. С летнего неба, срываясь, падали зарницы, будто искры иных лопат, работающих за горизонтом.

Ты куда ведешь, ров?

СКУПОЙ РЫЦАРЬ НТР

Кто ночами под настурции
зарывает свой талант?

Скупой рыцарь революции
зарывает бриллиант.

Пол-участка заминировал
скупой рыцарь НТР.
Зарываешь, замминистра,
свой портфель.

В том портфеле — «Волга», «вольво»,
полстраны и особняк,
твоя бешеная воля,
бывший парень из общаг.

В уши вдев Марио Луци,
презирает тебя дочь.
Скупой рыцарь революции,
посмотри, какая ночь!

«Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на полях,
Бриллианты на дороге,
Бриллианты в небесах...»

Сын твой дохнет от поп-арта,
жена копит арт-нуво.
Твой шофер грешит поп-алчью,
тебя точит алчь-нуво.

Утром на крылечко выйдешь
и увидишь страшный сад —
он растет все выше, выше,
с ветвей «видео» висят.

Видно всем бесповоротно,
что закапывал в мечтах.
На вершинах вертолеты
несут золото в брусках.

На ветвях счета валютные,
их уже не сдать в детсад,
бедный рыцарь революции,
и тебе их не достать.

«Бриллианты на дорогах,
Бриллианты на полях,
Я ошибся — на деревьях,
Бриллианты в небесах».

Куда ведет цепная реакция симферопольского преступления, зацепленного с людской Памятью, связью времен, понятиями свободы и нравственности? Повторяю, это процесс не уголовный — духовный процесс. Не в шести могильных червях дело. Почему они плодятся, эти новорылы? В чем причина этой бездуховности, отрыва от корней, почему сегодня сын выселяет мать из жилплощади, а родители истязают трудновоспитуемого дитятю, привязав к березе в роще? Или это разрыв кровной родовой связи во имя отношений машинных? Почему, как в Грузии, ежегодно не отмечаем День поминовения павших? Память не закопать. «Немецко-фашистскими захватчиками на 10-м км были расстреляны мирные жители преимущественно еврейской национальности, крымчаки, русские», — читаем мы в архивных материалах. Потом в этом же рву казнили партизан. А нажива на прошлом, когда кощунственно сотрясают священные тени?

Боян, Сковорода, Шевченко учили бескорыстию.

Не голод, не нужда вели к преступлению. Почему в страшных и святых днях Ленинградской блокады именно голод и страдание высветили обостренную нравственность и бескорыстный стоицизм? Почему ныне служащий морга, выдавая потрясенной семье тело бабушки и матери, спокойно предлагает: «Пересчитайте у покойницы количество зубов ценного металла», не смущаясь ужасом сказанного?

«Меняется психология, — говорит мне, щурясь по-чеховски, думающий адвокат, — ранее убивали попросту в „аффекте топора". Недавно случай был: сын и мать сговорились убить отца-тирана. Сынок-умелец подсоединил ток от розетки к койке отца. Когда отец, пьяный, как обычно, на ощупь лежа искал розетку, тут его и ударило. Правда, техника оказалась слаба, пришлось добивать».

Только двое из наших героев были ранее судимы, и то лишь за членовредительство. Значит, они были как все? В ресторанах они расплачивались золотом, значит, вокруг все знали? Чья вина здесь?

Откуда выкатились, блеснув ребрышками пробы, эти золотые червонцы, дутые кольца, обольстительные дукаты — из тьмы веков,

из нашей жизни, из сладостного Средиземноморья, из глуби инстинкта? Кому принадлежат они, эти жетоны соблазна, — мастеру из Микен, недрам степи или будущей ларешнице? Кто потерпевший? Кому принадлежат подземные драгоценности, чьи они?

Мы стоим на 10-м километре. Ничья трава свежеет вокруг. Где-то далеко к северу тянутся ничьи луга, ничьи рощи разоряются, над ничьими реками и озерами измываются недостойные людишки. Чьи они? Чьи мы с вами?

ОЗЕРО

Я ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

Я на себе почувствовал взор,
будто я моря убийца и вор.

Слышу — не спит иркутянин во мгле.
Курит. И предок проснулся в земле.

Когда ты болеешь, все мы больны.
Байкал, ты — хрустальная печень страны!

И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.

Ну неужели наука солгала
над запрокинутым взором Байкала?

И неужели мы будем в истории —
«Эти, Байкал загубили которые»?

Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень.

Это не только отстойников числа —
совесть народа должна быть чистой.

Чтоб заповедником стало озеро,
чтоб его воды не целлюлозило,

чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

ДОЛГ

История — прямо
долговая яма.

Мне должен Наполеон
Арбат, который был спален.

— Представим, что татарского ига нет,
тогда все сдвинется на 300 лет

Чингисхан
мне должен 300 лет назад не построенный БАМ.

Хау ду ю ду? —
если бы мы взяли Зимний в 1617 году?
В Европе бы грызлись Алые и Белые розы,
а мы бы уже укрупняли колхозы.

Если б не Иго,
Иван Грозный бы вылезал из МиГа.
А Шекспир
ехал бы к нам бороться за мир.
До границы его бы карета везла,
а от Ленинграда экспресс «Красная стрела».

Одно лицо
должно мне Садовое кольцо.

Продолжим.
Я должен
недочитанному поэту по имени Спир. Дрожжин.

Я должен
мальчику 2000-го года
за газ и за воду
и погибшую северную рыбу.
(Он говорит: «Спасибо!»)

Поднесут ли лютики
к столетию научно-технической революции?

ЧЕЛОВЕК

Прости мне, человеку, человек, —
история, Россия и Европа, —
что сил слепых чудовищная проба
приходится на край мой и мой век.

Прости, что я всего лишь человек.
Надежда, коронованная Нобелем,
как страшный джинн, рванула
над Чернобылем.
Простите, кто собой закрыл отсек.

Науки ль, человечества ль вина?
Что пробило, и что еще не пробило,
и что предупредило нас в Чернобыле?
А вдруг — неподконтрольная война?

Прощай, надежд великое вранье.
Опомнись, мир, пока еще не поздно!
О боже! Если я — подобье Божье,
прости, что Бог — подобие мое?

Бог — в том, кто в зараженный шел объект,
реактор потушил, сжег кожу и одежду.
Себя не спас. Спас Киев и Одессу.
Он просто поступил, как человек.

Бог — в музыке, написанной к фон Мекк,
он — вертолетчик, спасший и спасимый,
и доктор Гейл, ровесник Хиросимы,
в Россию прилетевший человек.

БОЛЬНИЦА

Мы потом разберемся,
кто виноват,
где познанья отравленный плод.
Вена ближе Карпат.
Гибель вишней цветет.
Открывается новый взгляд.

Почему он в палате глядит без сил?
Не за золото, не за чек.
Потому что детишек собой заслонил,
потому что он — человек.

Когда робот не смог отключить беды,
он шагнул в зараженный отсек.
Мы остались живы — и я, и ты, —
потому что он — человек.

Неотрывно глядит, как Феофан Грек.
Мы одеты в спецреквизит,
чтоб его собою не заразить,
потому что он — человек.

Он глядит на тебя, на меня, на страну.
Врач всю ночь не смежает век,
костный мозг пересаживает ему,
потому что он — человек.

Донор тоже не шиз —
раздавать свою жизнь.
Жизнь одна — не бездонный парсек.
Почему же он смог
дать ему костный мозг?
Потому что он — человек.

Он глядит на восход.
Восемь душ его ждет.
Снится сон — обваловка рек.
Верю, он не умрет,
это он — народ,
потому что он — человек.

ЙОРИК

Володя, быть или не быть
частью духовного процесса,
в котором бог, энергосбыт,
не понимает ни бельмеса?

Володя, быть или не быть
свидетелем, как честолюбец,
отрыв при помощи копыт,
в твой череп вводит плоскогубец?

Что там, Володя? Как без шор
жизнь смотрится? Что там за кадром?
Так называемой душой
быть иль не быть? — вот в чем загадка.

Что мучит? Что сказать хотел?
Иль, как бывало, с репетиций
в квартиру нашу на Котель-
нической входишь подкрепиться?

Сегодня «быть» значит «не быть».
Но должен кто-то убить злое!
Об этом черный до орбит
белеет череп на изломе.

Бедный Володя! Йорик, выйдь!
Шесть лет поешь, губ не имея,
богатый тем, что не забыть.
Так кто имеет, не умеет.

Оттуда «быть или не быть»
поешь над непростою родиной,
богатой тем, что не забыть.
Володя, Гамлет подворотен!..
Лишь женщина вздохнет сквозь быт:
«Бедный, бедный Володя...»

«Быть — не быть», «быть — не быть», —
вечный голос окрест.

«Не быть» — заступ долбит, чтоб забыть.
Ты побил старый тест.
Ты, не будучи, есть.
Жаль, что дальше, чем Мозамбик.

Ты куда ведешь, ров?
Что столбы чередой
телефонные говорят?
Будто стайки далеких от нас черепов
изоляторами сидят.

— Серые карие живые вопрошающие детские девичьи женские близорукие бирюзовые невинные влюбленные ангельские масличные смешливые черные жгучие страстные прекрасные всевидящие непростившие бешеные святые голубые невыносимые счастливые всевышние синие —

(золотые холодные комиссионные гранатовые граненые греческие турецкие витринные большие фальшивые изумрудные предсвадебные зябкие подаренные обалденные надетые нагретые родные носимые зацелованные)

— испуганные арестованные заметавшиеся отчаянные жалкие покорные гонимые —

(спрятанные зашитые притаившиеся родные теплые)

— плачущие страшные непонимающие слепые понявшие гневные молящие мертвые —

(зарытые ледяные забытые)

— серые карие наглые оценивающие —

(очищенные золотые магазинные сверкающие заприходованные сторублевые)

— небесные вопрошающие вечные

* * *

Оковы дев, комиссионные обновы,
очищены от стольких лет земли.
Кто вы?
Царицы бала, золушки земли?

Сережек инкрустированный иней,
я помню, как я вас кому-то примерял.
Имя?!
Скажите имя! Имя — бриллиант.

Разлучник-перстень греческой работы
девятисотой пробы, 9 гр. —
Кто ты?
Три женщины — две госпожи и одна гр.

Хотя б одну спаси, ров симферопольский!
Дюймовочка, испуганная лишь,
как персик синеокого Серова,
ты сорок лет в жемчужине сидишь.

Ты станешь продавщицей в жизни новой,
певичкою, забавой торгашей.
«Кто вы?»
Ты выпрыгнешь в испуге из ушей.

...Несетесь без имен, от пуль зажмурясь, воя,
осыпав по степи обложки паспортов.
Кто я?
Ты куда ведешь, ров?

ИСПОВЕДЬ ДИСПЛЕЙБОЯ

Никому не должен я ни черта!
Что ж деньгам под землей лежать?
Верещагин в авоське
несет черепа,
как пустую посуду сдавать.

Да, я — гробокопатель.
А ваша мораль
не вскрывала ль великих могил?
Я в кромешный аврал
рук в крови не марал —
разве я их убил?

Кем я был, сексспортсмен,
человек без проблем,
хохма духа в компашке любой,
сочетающий секс
с холодком ЭВМ?
Я назвал бы себя —
дисплейбой.

В пиджаках цвета обоев
ходит племя дисплейбоев.

Чтоб в семье не было сбоя,
вызывайте дисплейбоя.

Что с тобою, дисплейбой,
не курить же нам «Прибой»?

Нету денег, дисплейбои,
спрограммируем любое!

— Кто такая дисплейгёрл?
— Ванна? Где тут «хол» и «гор»?

«2-17-40 Люб...
...86 проба... руб...»

Доктор, дай укол двойной!
Поломался дисплейбой.
Слева — боль.

Ты всю ночь ломаешь спички.
Снятся детские косички.

Поломала всю программу
Вали мама...

* * *

Старый танковый ров,
где твои соловьи?

Танго слушает век-волкодав.
«Если нету любви,
ты меня не зови,
все равно не вернешь никогда...»

Супермены, они без дам себя не мыслили.

«...23 сентября в 20 часов в квартире... предложил гр. Ш. купить у него золотую монету царской чеканки достоинством 10 руб. и назвал цену монеты 500 руб., с целью получить при этом наживу стоимостью 140 руб., пояснив, что только за указанную сумму продаст монету ей. Однако свой преступный замысел до конца не довел по не зависящим от него причинам, т. к. Ш. отказалась покупать монету...»

«...25 сентября в 17 часов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире гр. Фасоновой беспричинно, из хулиганских побуждений, громкой нецензурной бранью стал оскорблять Фасонову, проявляя особую дерзость, схватил ее за плечи, плевал ей в лицо, затем стал избивать ее в помещении кухни, наносил удары по туловищу и по другим частям тела, причинив ей, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мелкие телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья. Свои хулиганские действия он продолжал в течение 20–30 мин., чем мешал спокойному отдыху окружающих его людей» (т. 1, л. д. 201–203).

Ты куда ведешь, ров?

ЯМА

Спрыгнул в яму я. Тень
обняла меня. День
был вверху. Череп я увидал.
Я по рыхлой земле
сделал шаг в угол, к мгле
и почувствовал страшный удар...

Я очнулся. Горят
канделябры, троясь.

Подземелье похоже на склад.
Все безглазы. Тот пьет,
запахнув свой трельяж.
— Что тебе? — говорят.
— Новый взгляд!

— Золотую стрельцовскую ногу возьми!
Бей сервизом романовским
об пол палат!
Хочешь, шарик спали?
Хочешь власти, казны?
Что тебе? — говорят.
— Новый взгляд.

Хохотали. Рыдали: «Дегенерат!
Жизнь отдай — и бери. Но немыслим возврат.
Проживает поэт
столько жизней подряд,
сколько раз обновляется взгляд».

И я отдал все жизни свои за взгляд.
О, успеть бы разъять
и безглазым раздать!..
И последнее, что я успел увидать, —
это прежней тебя, и отца, и мать...
. . . . . .
«На лопату совковую ты ступил.
И она огрела тебя по лбу́».
Я лежу на лугу.
Я смеюсь что есть сил.
Веки режет мне синь.
Как тебя я люблю!

Не сестра моя жизнь,
а любимая — жизнь,
я люблю твое тело, и душу, и синь,
как от солнца дрожат,
зажимая мне взгляд,
твои пальчики, черные от маслят!

Ты куда ведешь, ров?

Тени следуют за нами. Слова оживают. В свое время я написал стихотворение «Живое озеро», посвященное закарпатскому гетто, расстрелянному в дни войны фашистами и затопленному водой. В прошлом году я прочитал стихи эти на вечере в Ричмонде. После вечера ко мне подошла Ульяна Габарра, профессор литературы Ричмондского университета. Ни кровиночки не было в ее лице. Один взгляд. Она рассказала, что вся семья ее погибла в этом озере. Сама она была малышкой тогда, чудом спаслась, потом попала в Польшу. Затем в Штаты. Стихотворение это в свое время иллюстрировал Шагал. На первом плане его рисунка ребенок оцепенел на коленях матери. Теперь для меня это Ульяна Габарра.

Поэма ли то, что я пишу? Цикл стихотворений? Вот уж что менее всего меня занимает. Меня занимает, чтобы зла стало меньше. Закопченный череп на меня глядит. Чем больше я соберу зла на страницы — тем меньше его останется в жизни. Сочетается ли проза с поэзией? А зло с жизнью?

Еще в «Озе» я впервые ввел прозу в поэму, но там у нее была фантасмагорийная задача. Протокольная проза «дела» куда чудовищнее фантазии.

Люди раскрывались, когда я говорил им об этих фактах. Одни делали голубые глаза, другие не советовали ввязываться.

Но сейчас симферопольским умельцам некие лица заказали изготовить металлоискатели по схемам, опубликованным в радиожурнале.

Повествование затягивается. Ров тянется. Новые и новые лица открываются.

Когда этот ужас кончится? Но нет, еще прут, еще...

Ты куда, ров, ведешь?

РЭКЕТ

Мотоциклов рокот. Городок над речкой.
Из сберкассы вкладчика ведут взашей.
Милицейский рэкет, милицейский рэкет
раскошеливает торгашей.

Это преступление огорошивает.
Начали на спор.

А того, кто ропщет, пытали в роще —
фарами в упор.

«Что дерешь за джинсы, Капитолина?»
«А каждому начальничку — в лапу, плиз?!»
Где тут пережитки капитализма?
Их деды не застали капитализм.

Мальчики-лимитчики, чем вас зациклило?
Бездны подсознания — не «ать-два».
В демонских крылатках на мотоциклах
тысячелетняя летит алчба.

Но на то законы, чтоб срывать погоны.
Городок от слухов оцепенел.
Без ремня выводит на моционы
милиционера — милиционер.

РЕАКЦИЯ ГОСМУЖА

«Государственный муж,
я не помню, где уж —
в Ленинграде? В Ташкенте? В Москве? —
мне внесли миллион,
благодарственный куш,
в упаковке цветного ТВ.

Что я видел, глядя
в этот страшный экран, —
Сочи, женщин, этап за Урал?
Указанья какие
по ходу программ
по привычке давал?

Что ты знаешь о муках моих,
зубоскал?
Я вассал, против власти восстал.
Государственный муж,
вместо принятых кляч
я завел любовницу — алчь!

Был я карлик.
Но спесь во мне выла — покажь!
Я на свадьбах крушил Эрмитаж.
Я лежал на полу,
сам себя наградя.
Словно в луже, во мне
отражалась звезда.

„Вор в законе“ смешон.
Я и вор, и закон.
Я тебя в черный список внес.
Хоть любил твою песенку про миллион,
миллион, миллион глупых роз.
Где ты видел у наших людей черепа?
Перестань клеветать!
Я бульдозером сгреб бы сокровища рва —
вместе с Валей бы сгреб его мать.

Гласность, ты говоришь?
Этот фрукт не для нас.
На собраниях зависть попрет из масс.
За бугром лоботряс
врет, что мы — новый класс.
Старый взгляд — вот что общее в нас.

Ты всю жизнь обличал меня в гнусных стишках.
Я тебя запрещал, присуждал к бичу.
Я тебя читаю исподтишка.
Но я свой телевизор еще включу».

ПАРОДИЙНОЕ

«Наш завод без наград. Он опять заскучал.
Меня шлет агрегат закупать к фирмачам.
Жру ликер. „Шарп“ беру. Я почти как в раю.
Снял игру! Договор не подписываю.

Фирмачи пошли пятнами по щекам.
— Провоцировали? — Да еще как!

Там в витринах ви́ски и ветчина
и прочая антисоветчина.

Он опять без наград заскучал, наш завод.
Закупать агрегат к фирмачам меня шлет.
Как в раю! „Шарп“ беру, „Дживиси“. Жру ликер.
Снял игру! Не подписываю договор.

Заскучалнашзаводбезнаградонопять
кфирмачамменяшлетагрегатпокупать
жруликерфенвсемьюджвисисишарпберу
договорнеподписываюснялигру

Заскучал наш завод. Он опять без наград...»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Что хочу? Новый взгляд,
так что веки болят.

Что хочу? Ренессанс.
Стань, Одесса, Рязань,
духовной Тосканой для нас!
Чтоб потомкам не алчь
мы оставили — ярчь,
как Блаженного ананас.
В «Новой жизни», как злак,
зеленел новый взгляд.
Новый взгляд породил Ренессанс.

Я как столб философский
хочу отрыть,
башню Сухареву воскресить.
Против чтоб Склифосовки
алела, бела,
НТР эпохи Петра.

Я хочу, чтобы дом,
не испортив земли,

на воздушной подушке парил,
чтоб зоил не корил
за отрыв от Земли —
за отрыв бы от неба корил.

Новый взгляд! Новый взгляд
не приемлет сатрап,
в этом Федоров мне собрат.
20 млн близоруких, слепых вполне.
Прорезается зренье в стране.

Я приехал к нему
еще в травлю и свист.
Он похож на бобра. Некрылат.
В робе, как космонавт,
запустив свежий твист,
он пилоту врезал новый взгляд.

Я хочу, чтоб ушла
человечья нужда,
не дожить до получки когда.
Нет эпохи палочной деревень,
когда шел «за палочку» трудодень.

Разве алчь, если хочется жить по-людски?
Если только не алчна душа,
что создал, получи — от машины ключи
и брильянт в нефальшивых ушах.

Каждой женщины ласково-трудная жизнь
непременно должна быть одета,
если ночью — в Веласкеса кисть,
если днем —
то в костюм от Кардена.

Одеваясь, живя, страдая,
достигайте уровня мирового нестандарта!

(Одеколон «8-е Марта»
перекрыл все мировые нестандарты.)

По дорожке бежит
мировой нестандарт.
Загорая, лежит
мировой нестандарт.

Мировой нестандарт
поступил в дефицит.
Молодой Нострадам
педсовету дерзит.

Мне дороже ондатр
среди ярких снегов
мировой нестандарт
нестандартных умов.

Не поймет костоправ
новых мыслей порой.
Победит, пострадав,
нестандарт мировой.

Если алчь со временем собирается в золото, то, думаю, бескорыстность собирается художниками и становится ценностями духовными. Бескорыстным пожертвованием был дар Третьякова городу своего детища. В свое время мне приходилось писать о том, что здание Третьяковки гибнет от сырости. Сейчас Москва решительно взялась за его перестройку, разрубив гордиев узел волокиты. Пунцовому сердцу Замоскворечья будут вставлены новые клапаны. Практически воздвигается новое здание. Но как бережно надо строить и реставрировать — ведь идет операция на сердце! Демонтированный «Демон», верещагинский «Апофеоз», философский Филонов на 4 года переезжают в запасник. Меня пригласили взглянуть последний раз на старые стены перед переселением самого большого полотна — шедевра Александра Иванова. Я шел к Галерее через перерытые траншеями улицы и переулки — скоро здесь будет заповедная пешеходная зона. Как тревожно стало в опустевших залах! Все знали, что это необходимо и к лучшему, но такая грусть была, что-то уходило вместе со стенами, пропитанными дыханием стольких людей и лет.

ПЕРЕД РЕМОНТОМ

В год приближения Галлеи
прощаюсь с Третьяковской галереей.

Картины сняты. Пусты анфилады.
Стремянкою с последнего холста
спускался человек, похожий на Филатова.
Снимали со стены «Явление Христа».

Рыдают бабы. На стенах разводы.
Ты сам статьями торопил ремонт.
«Явление Христа» уходит от народа
в запасный фонд.

Ты выступал, что все гниет преступно,
чего ж ты заикаешься от слез?
Последним капитан уходит с судна —
не понятый художником Христос.

Художнику Христос не удавался.
Фигуркой, исчезающей из глаз,
вы думали — он приближался?
Он, пятясь, удаляется от нас.

До нового свиданья, Галерея!
До нового чертога, красота.
Не нам, не нам ты явишься, Галлея.
До новых зрителей, «Явление Христа».

На улицу, раздвинув операторов
и запахнув сатиновый хитон,
шел человек, похожий на Филатова.
Я обознался. Это был не он.

ДИАГНОЗ

Год уже, как столкнулся я с ужасом рва.
Год уже, как разламывается голова.

Врач сказал, что я нерв застудил головной,
хожу в шапочке шерстяной.

Джуна водит ладонями над головой,
говорит: «Будто стужей несет ледяной!»

Оппонент мой хрюкает, мордой вниз:
«Говорил я, что холоден модернизм».

Неужели застуда идет изнутри?
И могильная мысль может мозг изнурить?

Во мне стоны и крик, лютый холод миров.
Ты куда ведешь, ров?

СХВАТКА.
НА ВОСКРЕСНИКЕ

Лязг зубов и лопат. У 10-й версты
нас закапывают мертвецы.
Старорыл с новорылом,
копай за двоих!
Перевыполним план по закопке живых!

Труд как в тропиках — до трусов.
Аэробика мертвецов.
Кто свой палец отсек, кто идет вперехват.
Кто хоронит модерн,
кто копает под МХАТ.

Дерн, как правду, — вверх дном! —
Первый кто бросит ком?
Вслед их ведьмы летят на лопатах верхом...

Справедливый плакат водружен над шестом:
«Мертвецов — большинство,
а живых — меньшинство».
Поживей прохрипим:
«Панихиду живым!»

Я улыбок зубастых не знал широчей.
Аллилуйщик — теперь мастер смелых речей.
Жмут с лопатою грейдерной, мудрецы.
Закопают страну — только не удержи!

Но живой поднимается землекоп
вперехват мертвецам —
Пастернак, и — горбат от лопат — Смеляков,
и сажающий вишню пацан.

Мертвецы и творцы, мертвецы и творцы —
вечный бой: вечный риск, вечный дых!
Искры встречных лопат от Тверцы до Янцзы,
схватка мертвых лопат и живых.

Пастернак, ты терновник к забору садил,
бескорыстные брюки заправив в сапог.
И варнак не достал тебя меж светил.
Стал лопаты венец — твой венок.

Как он в слове весом,
мой неалчный народ.
Не случайно венцом
он лопату зовет.
Подымите ее вверх венцом над собой —
вы увидите женщину с русой косой.

Отвернулась спиною.
Глядит на закат.
До земли опускается стержень косы.
За тебя на закате
сраженья кипят —
мертвецы и творцы, мертвецы и творцы.

Это все матрици-
рует «аз, буки, рцы»
на холстах плащаниц, в адресах медресы.
Есть две нации — как ты ни мельтеши —
мертвецы и творцы, творцы и мертвецы.

Я живу невпопад.
За удары — мерси!

Но за новый твой взгляд мои годы летят.
Уходящего века читаю кресты
в инициалах скрещенных лопат.

У отверстой версты
мертвецы и творцы.
Нет границы у бытия.
Века двадцать какого-то об изразцы
обломилась лопата моя.

ФИНАЛ

Жизнь — сюжета финал.
Суд порок наказал.
Люд к могиле спешит. Степь горчит.
К ней опять скороход
в тряпке заступ несет.
И никто не несет гиацинт.

ЭПИЛОГ

Я всю мерзость собрал на страницы, как врач,
чтобы сжечь тебя, алчь.

Разве рукописи не горят?
Еще как полыхают!
Вечны авторы, говорят.
Еще как подыхают.

Ляг, созданье, в костер Соколиной горы.
Алчь, гори!

Все четыре героя в меня глядят —
Ров, Алчь, Речь, Взгляд.

— Ты быть Гойей стремился для русской зари.
В пепле корчатся упыри.
Друг твой за бок схватился. В душе — волдыри.
Или сам ты горишь изнутри?

Это ревность твоя приглашает на ланч,
что подпольной натурой была.
Это алчь, это алчь, это хуже, чем алчь,
твою жизнь искривила дотла.

— Ты сгубила товарища моего.
Честолюбничай, корчься, ячь!.. —
Словно взгляд или чистое вещество,
над огнем выделяется алчь.

Я увидел, единственный из людей,
вроде жалкой улыбки твоей.

Совмещались в улыбке той Алконост,
и Джоконда, и утконос.
А за ней, словно змей ожиревший, плыло
бесконечное тело твое.

И я понял, что алчь —
это ров, это ров,
где погиб за народом народ.
Помогите! — кричали из черных паров.
И улыбка раскрыла твой рот.

И увидел я гибкое жало твое,
что лица мне касалось аж.
Помню, жало схватил
и поджег, как фитиль, —
до Камчатки вспыхнула алчь!

«Амнистируй, палач...
Три желанья назначь...» —
«Три желания? Хорошо!
Чтобы сдохла ты, алчь.
Не воскресла чтоб алчь.
И еще —

чтоб забыли тебя
в мире новых страстей.
В веке чистом, как альт,
спросит мальчик в читалке,
смутив дисплей:
„А что значит слово
«алчь»?“»

Симферополь — Москва.
Декабрь 1985 — май 1986 г.

ГРЕХ

Беседа после поэмы

— Я вижу у вас на столе многие сотни читательских писем, присланных после поэмы. Давайте почитаем их. «Ваш „Ров“ меня потряс, изранил душу и наполнил возмездием. Да будет литература русская Возмездием всякой сволочи!.. Представляю, чего Вам стоила эта поэма», — пишет женщина из Фрунзе. «Поэма пробуждает совесть. Как жутко то, о чем Вы пишете, как страшно, когда люди перестают быть людьми и только „умеют жить“. Спасибо, что Вы бьете в набат против алчности и душевной глухоты», — пишет А. Данилов из Кемерова. «Всегда на острие, неравнодушно, с болью, но чтобы после поэм принимали меры — это ново» — это слова В. А. Кузнецовой из Ленинграда. Нам важно в первую очередь разобраться — как появились среди нас те, кого и людьми-то назвать тяжко?..

— Процесс юридически закончен. Но кара оскорбленных теней 12 тысяч жизней, расстрелянных геноцидом и вторично убитых гробокопателями, на этом не кончается. Эта кара будет витать над их судьбами. Совершенное ими — не просто преступление, а то, что называют издавна в народе глубоким словом: «грех». Это грех в том смысле, как его понимали Толстой, страстный Достоевский, наша обнаженная совесть Есенин, о чем размышляют Быков и Адамович, о чем пел, срывая голос в борьбе со злом, Высоцкий. Грех перед памятью невинно убиенных, грех перед смыслом своей краткой человеческой жизни, перед совестью, перед любовью, объятиями и чудом зарождения жизни. Перед ребенком, которого сейчас носит под сердцем единственная в этой преступной группе женщина. Как могла она, нося пульсацию детского сердца в себе, сама нести его к трупной бездне?

Разве только преступление, когда Рыжов и Кандыба заказали и носили перстни из зубов убитых? Или когда отпущенный Нюхалов

сомнамбулически шел при ночных фарах доставать скелеты и разбивать черепа? Это — наркомания жестокости.

Мне рассказывали, что местонахождение захоронения гробокопатели узнали от бывшего полицая, который отсидел положенный срок и вышел на свободу. Ему бы о душе подумать. Но он продал место казни. Кажется, за 30 тысяч. Это грех мерзкий.

Понятие греха выпало из нашего обихода.

Эти люди — бестрепетные и безвопросные — походили на персонажа булгаковского «Собачьего сердца», которому пересадили псиное сердце и психологию. Смерть и жизнь для них не представляли загадки, череп для них был лишь копилкой, наполненной золотыми зубами, которую надо расколоть. Думаю, именно забвение вечных вопросов, которыми всегда мучился человек, лишает его человечности. Камень, растения, животные не имеют вопросов. Человека, в отличие от них, мучают вопросы о смысле жизни и смерти, о загадке своего существования.

От Еврипида с его «Жизнь есть смерть, и смерть есть жизнь» до Плотина и русских философов, пока еще не переизданных, люди мучаются проклятыми вопросами. Забвение философии и именно философии вопросов, подмена ее пересказом на уровне отрывного календаря стандартных стереотипов становятся причиной духовного отупения, убогости и примитивизма. Человек должен сам найти истину, выстрадать ее, а не вызубрить и забыть сразу после экзаменов.

Хотелось написать поэму так, чтобы она была рамой факта, чтобы стихи не отвлекали, чтобы у читателя осталась в сознании не «изящная словесность», а чудовищность факта.

— «Когда я был тяжело ранен на фронте, я не плакал от боли. Когда читал поэму, плакал сам, плакала моя супруга — участница Великой Отечественной войны», — пишет М. Бендик из Харькова. Судя по всему, поэма давалась нелегко, выстраданно?

— Писать было тяжело даже физически. Ужасал ров и бездна, открывшаяся за ним. Сам я не из слабонервных, всякое видел. Но после увиденных разбитых черепов и детских волос я не мог примерно месяц заснуть. Человеческий разум, наверное, не рассчитан на подобные перегрузки. После «Рва» до сих пор не могу написать ни одного стихотворения. Видно, нервы обожглись.

Все казалось безысходным после этой истории. Как возможно такое в наше время, с нашими людьми?

Но читательские письма, страстные до крика, буквально обжигающие, помогли — показали, что духовное возрождение, духовное обновление возможно, они показали, что не всесильны равнодушие и инертность.

Смелость мыслей писем ошеломляет. Такого не могло быть два года назад. Люди не только хотят перемен, но стремятся в них участвовать, меняются сами. «Я хочу правды. Я голодный», — пишет молодой поэт из Химок К. Седунов. Участник войны из Инты Долинов требует поставить памятник жертвам сталинских репрессий. «Требуется нравственное очищение» — таково кредо инженера из Свердловска. Письма читателей становятся новой поэмой, главы которой состоят из разных судеб, исповедей. Возмущаясь изуверством, каждый ставит свои вопросы. Вот одно из писем молодых с обратным симферопольским адресом: «Комсомольский студенческий отряд просит сообщить номер счета, куда можно перечислить свыше тысячи рублей заработанных нами денег в фонд строительства Поля Памяти на 10-м километре. Приняли это решение, прочитав „Ров“». Вот пишут из Днепропетровска:

«Мы настолько заболели Вашей поэмой, что сейчас создаем при ДК железнодорожников театр-студию „Магистраль“. Мы мечтаем показать спектакль „Ров“ не только в стенах нашего ДК, но и на сцене других Дворцов культуры и клубов. А если нам предоставят возможность, то и в Чернобыле и в Симферополе. Если будут платные спектакли, то весь сбор от них перечислим на счет № 904».

Заметьте: среди мужчин группы не было ни одного младше 28 лет. Это все были продукты недавних лет, когда приучались жить по «двойной правде».

Порой о новых явлениях мыслят шаблонно, старыми стандартами. Сколько времени хотели видеть лишь варварство и бездушие «иронического поколения», обвиняя его в эгоцентризме, инфантильности, корысти.

Интересный клуб поэзии создан сейчас в Москве, первый клуб на хозрасчете. Поэты там не просто читают свои стихи, но устраивают хеппининги вместе с музыкантами и художниками. Они предполагают издавать сами стихи молодых. Душа клуба — яркий поэт Н. Искренко. У них есть идея читать стихи с дельтаплана. Интересен Ю. Арабов. Почему бы и нет?

Некоторые письма настораживают. 30-летняя Марина Д. соглашается: преступление грабителей ужасно и кощунственно. И тут же

предлагает отрыть ров на официальной, так сказать, основе, просеять, выбрать золото, а на эти деньги «соорудить мемориал, насадить роз или что-то в этом роде»...

— *Наверное, лучше всех этой практичной девушке, которая хочет выгребать золото из скелетов, ответит своим письмом Р. Молдованова: «Несколько дней мы с мамой перечитывали каждую строку поэмы — все пережитое стоит перед глазами. Я в возрасте 15 лет с мамой чудом спаслась во время расстрела. 2 ноября 1942 г. нас собрали на стадионе, более 3 тысяч стариков, детей, и расстреливали в противотанковом рву под Ростовом-на-Дону... Там остался мой отец...» Ей вторит читательница из Омска:*

«Моя бабушка тоже была расстреляна фашистами и похоронена в братской могиле в Прилуках, — она просит рассказать, как появился образ Высоцкого в поэме, — я люблю его песни, переписываю их, почему не издают его стихов?»

— Помните Высоцкого в костюме принца Датского? Он сыграл уличного Гамлета, вглядывался в череп Йорика, сам будучи московским Йориком и поэтом. Он пел, когда было «нельзя», — пел о том, о чем думала, спрашивала улица, о чем говорили между собой — о быте работяг, о проворовавшемся вельможе, о темных тенях, бюрократическом бардаке. Время показало, как во многом он оказался прав. Ныне его хвалят даже те, кто хулил при жизни. Сейчас в «Советском писателе» готовится том — почти все написанное Высоцким, он выйдет большим тиражом. Жаль, поэт не дождался этой книги.

— *Читательницу из Уфы восхищает музыкальная оркестровка поэмы. Может быть, вы откроете свою лабораторию?*

— Ритм поэмы — это дробные синкопы — я не выдумывал, он как-то сам зазвучал, может быть повторяя ритм сапог, стук лопат гробокопателей и лопаты бедного замминистра, зарывающего на даче свой клад. Потом оказалось, что, может быть, этот ритм в крови нашего века — как ямб стал ритмом «века девятнадцатого, железного», оркестрованного снежной мазуркой, — ведь именно он прорывался в мандельштамовском «веке-волкодаве» и «квадрате» Северянина, им написано популярное довоенное танго, вернувшееся ныне в наш обиход, а откуда-то из могильных глубин ему отстукивают баллады Жуковского. Сам я уже брал ранее этот размер — в «Двадцатый окончился век». Этот размер таит парадоксальность нашего времени. Все это я понял, конечно, после того, как поэма была написана.

— Много писем о чернобыльских главах. Несколько из Киева. Харьковчанка пишет: «Ежедневно, моя под краном по нескольку раз салат и овощи, читаю на память Ваши строки из давнишней „Кабаньей охоты", предрекающие гибель живой природы:

Собратья печальной литургии,
Салат, чернобыльник и другие...

Почему Вы написали „чернобыльник"? Сейчас многие говорят, что „чернобыльник" — это значит „полынь". А звезда Полынь в Библии предрекала гибель растений, людей и вод. Неужели Ваши стихи все это предсказали?»

— Сейчас во всех московских салонах говорят о звезде Полынь. Недавно даже один из владык нашей церкви в «Литгазете» опровергал это, указав, что человеку не дано предвидеть будущее и дату конца света. Что касается стихов, то, думаю, они в этом неповинны.

Многие письма спрашивают, как сложилась жизнь Переходника, выброшенного матерью из страшной машины. Его нашли и выходили местные жители. Он инженерствует. Двое сыновей: одному 29 лет, другой в 10-м классе — талантливый скрипач. Но какой-то рок довлеет над семьей. Его двоюродная сестра, живущая в Москве, рассказывает: на днях сын-десятиклассник обнаружил в кармане зажигалку, видно кем-то подложенную. Дома он попробовал зажечь ею газ. Раздался взрыв. Стоящий рядом старший брат получил 40 осколков. Юному скрипачу оторвало пальцы на руке. Он — в больнице сейчас. Наркомания жестокости? Забавы НТР? Или что еще?

— Критика уже отмечала неожиданную точность образа «ангел смерти является за душой, как распахнутый страшный трельяж». Когда-то в «Собакалипсисе», работая на черном юморе, вы шутили, что тело, состоящее из множества глаз, выгодно для фабрикантов, выпускающих очки. В этой поэме не до шуток. Какова генетика образа этого ангела?

— Ангел этот витает над многими. В Откровении Иоанна Богослова говорится о том, что все тело его состоит из глаз. Бунин был потрясен, прочитав легенду эту, трактованную Л. Шестовым в книге «На весах Иова». Как записано в дневнике Г. Н. Кузнецовой, Бунин хотел вставить легенду эту в свой роман. Впоследствии, в книге «Освобождение Толстого», Бунин писал: «Но, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто наделен был двойным зреньем, и именно от ангела смерти, слетевшего еще к его колыбели, так это Толстой».

Шестов же относил это к Достоевскому, считая, что ангел смерти посещал его и дал второе зренье — но не во время казни петрашевцев и не на каторге, а в «Записках из подполья».

Оставив реальную фамилию спасшегося из смерти симферопольца — Переходник, я изменил его имя. Также пришлось изменить имя, отчество и фамилию реального таксиста, который возил нас на 10-й км и рассказывал подробности. Увы, сделал я это не из литературных или мистических соображений — просто называть фамилию было небезопасно для него.

Думаю, сейчас ее уже можно назвать. Зовут его А. Ф. Волков.

Рок витает над живущим в Симферополе Переходником. Бабушка и дед его убиты Петлюрой. Вся семья его погибла во рву.

Мать спасла его, выкинув на ходу из роковой машины. Сама погибла во рву — правда, не в симферопольском, как считал таксист, а в Минводах, — вот куда ведет симферопольский ров.

— Кстати, Л. Д. Болотовский из Омска ловит вас на неточности: «Читаю, что таксисту „лет эдак шестьдесят", а далее говорится, что в 41-м году ему было 10 лет. Если ему сейчас 60, то в 41-м было не менее 15-ти. Или ему было 10, а сейчас 55». Правда, потом автор письма восхищается главой о Байкале и называет вас большим русским поэтом. Это характерно для всех четырех критических писем в адрес поэмы. Авторы одним восхищаются, другое резко не принимают. Уже упоминавшийся К. Седунов: «Считаю гениальной строку „Байкал — ты хрустальная печень страны". Но в „Венской повести" — при такой силе художественного изображения — такая растерянная позиция автора. На самом деле Ваша баба проститутка (тут автор письма допускает более краткую характеристику) и есть. Как и многие из нас. Зря она сомневается, философствует... Читаю прекрасные умные слова: „Поднесут ли лютики к столетию научно-технической революции?" Я, как и многие, отношусь к НТР с некоторой брезгливостью. Радуюсь строчкам. И вдруг через несколько строчек назвали Сухареву башню ненавистным словом НТР. Непоследовательность...»

Кстати, акад. А. Яншин считает, что ваши напечатанные стихи о Байкале сделали больше, чем сотни писем и докладов в защиту озера.

— Наверное, сказав, что таксист «эдак лет шестидесяти», я, может быть, ошибся. Но, может, он просто плохо выглядел? Я не спрашивал документов. Да и пережил он многое. Несогласие читателя

приветствую — у всех должны быть свои взгляды. Главное, чтобы думали.

Вероятно, есть и более серьезные неточности. Например, замком партизанского движения Крыма Г. Л. Северский считает, что жертв было более 20 тыс. Но так в архиве.

— *Читательница из Караганды рада: «Чтобы после поэм сразу реагировали и возводили памятник — этого никогда еще не было, это новое, это прекрасно...» Но некоторые письма звучат как предупреждение: вызубрив новые слова, противники перемен в сути своей остаются прежними...*

— 40 лет назад Л. Сейфулина писала в гневном очерке «Уцелел один»: «Симферополь превратился в сплошной застенок и отвратительную человеческую бойню. 9 декабря 1941 года немцы истребили древнейшее население Крыма — крымчаков. 11, 12, 13 декабря расстреляли всех евреев. Немцы зарегистрировали в Симферополе 14 тысяч евреев... Их смертный стон подряд трое суток стоял и в Симферополе, и в окрестностях... Один уцелел. Из четырнадцати тысяч человек — один». Его укрыл от расправы русский плотник.

О сегодняшнем преступлении печать молчала.

Лишь после поэмы в газете за 28 сентября напечатана статья о преступлении, связанном со рвом. Жаль, что местная печать впервые обратилась к этой теме за все два с половиной года, пока длилось преступление. Ведь первый процесс прошел более двух лет назад. Все эти годы город был полон слухов, и люди хотели знать правду. Но в печати не было ни слова. Сознает ли она этот свой грех?

Думаю, обратись газета своевременно к народу со страстной статьей, расскажи всю страшную правду о 10-м километре, глядишь, и преступление не повторилось бы, участники его не умножились бы. И не милиция, а людское осуждение не дало бы подступиться к захоронению. Гласность — великая сила. В Крыму живут честные, чистые люди. Народ бы все правильно понял.

— *Кстати, вот еще одно симферопольское письмо от Б. Акчинази, краеведа, который занимается историей рва: «Разрешите мне от имени тех, чьи родители, родственники, друзья лежат во рву, выразить Вам благодарность за поэму. Читать спокойно, без душевного трепета нельзя. Она заставляет думать и, главное, что-то предпринять сейчас, немедленно. Мне хотелось бы поделиться с Вами собранными сведениями: ведь этот ров стал могилой не только*

евреев, крымчаков, жертв геноцида. Это большинство жертв. Но там были расстреляны и подпольщики, семьи советских работников, военнопленные. Ваше предложение о сборе имен погибших своевременное и актуальное».

Г. Л. Северский свидетельствует, что во рву также были расстреляны лица из «синей тетради» — известные люди города — проф. Балабанов, актер Смоленский и др. После вашей поэмы начат сбор имен — создается история рва.

Время, подчеркивают авторы всех писем, требует нового мышления, гражданской смелости и от художника, творца. Готов ли он к этому?

— Процессы, которые начались у нас в стране, в частности в литературе и искусстве — и это ощущает каждый из нас, — революционны. Хотя духовные «новорылы» отнюдь не побеждены еще.

Не случаен, необходим сегодняшний публикационный взрыв, печатный Ренессанс после съезда писателей, когда литераторы сами, не уповая на «добрых дядей», берут печатание смелых произведений в свои руки, обращаясь к классике нашего века, возвращая великие романы Платонова, музу Гумилева, хрустальный интеллектуализм прозы Набокова и острые книги наших дней. Миллионы, расхватывающие свежие журналы, голосуют за гласность. Кстати, пора издать альбом уникальной графики Юрия Анненкова — созданные с натуры портреты светочей зари века Блока, Замятина, Ахматовой.

Я и сам не без греха — много лет, например, пытался напечатать слова о Гумилеве, опубликовать его стихи, но, увы, видно, энергии не хватило пробить. Видно, те, кто все же преуспел в этом, оказались настойчивее и удачливее.

Когда сегодня редакторша одного издательства категорически требует снять в «Избранном», составленном старейшим нашим поэтом Арсением Тарковским, 70 (!) стихотворений, не однажды опубликованных, — это грех безапелляционности.

Почему Пенза, «непровинциальная провинция», превратилась в заповедник культуры? Причем не только в заповедник Лермонтова и Ключевского, но и нашего столетия. В гости приглашает уникальный музей одной картины, Дом Мейерхольда, в галерее в залах Лентулова размещены предметы его быта — вы как бы к нему в гости пришли. И все это возможно, потому что в Пензе занимается культурой подвижник Г. В. Мясников.

«Когда откроют музей Шагала в Витебске, на его родине, ведь в будущем году столетие художника? — пишет пессимист из Минска. — Да никогда не откроют...» Уверен, откроют. Найдется в Витебске свой Мясников.

Один из читателей «Рва» волнуется: в Черкизове сегодня прокладывают метро так, что губят храм Ильи Пророка, роют в сорока метрах от этого барочного храма XVII в., хотя можно было рыть в стороне. Я позвонил тогдашнему секретарю Союза архитекторов А. Полянскому. Было послано предостерегающее письмо в Главное архитектурно-планировочное управление. Думаю, храм спасут. Но сердце болит. Москва сейчас много делает для защиты своих памятников. Однако неужели ничто не шевельнулось у тех, кто рыл под памятником, грозя погубить шедевр? Завтра они подроют что-то другое. Не они ли сейчас прокладывают дорогу и сносят при этом исторические лефортовские фасады, связанные с именем Пушкина и составляющие неповторимое очарование города? Разве это не грех перед отечественными святынями?

Шедевры мастеров нынешнего века — Филонова, Татлина, Родченко, Весниных — не менее ценны, чем классика прошлых веков. Важно, чтобы красота входила в быт, ее излучение убьет микробы низости.

— Один читатель совершенно категоричен: НТР уничтожает нравственность. В чем спасение от низких инстинктов?

— В насыщении общественной атмосферы духовной культурой, которая есть воплощенная в образ нравственность. Создаваемому ныне Фонду культуры — уникальной организации, где общественность сама, без бюрократических препон, возьмет на себя заботу о культуре, уйма работы. Назначение Фонда видится мне прежде всего нравственным. Сам признак его — дарственность — противоположен стяжательству. Дарящий всегда становится духовно богаче.

Начиная со шпенглеровского «Заката Европы» философы предвещают гибель культуры, обусловленную ростом цивилизации. Чудовищные черты этого есть. Но ныне видится возможность и единения Культуры и Цивилизации. Скажем, сегодняшний телевизор может стать мессией духовности — как происходит с проповедями Д. С. Лихачева или с передачей «12-й этаж», революционной, ломающей психологию застоя в масштабе страны. Даже ревнители упрощения, обличающие раньше «дьявольский ящик», сегодня, оттирая друг друга локтями, пробиваются на экран.

Страсть писем заражает надеждой. Порой, чтобы излечить, нужна шоковая информация. Хотя высшая цель поэзии, конечно, не в этом.

Москвичка И. Левицкая рассказывает о судьбе сына, уехавшего в туманный Холмск, что на Сахалине. Шестнадцать лет архитекторствует он там, забыв столичные соблазны, квартиру, переживая тяготы быта. Его счастье — расставлять на крутом рельефе невиданные доселе ступенчатые дома, вписать в диковинный пейзаж фуникулеры и лифтовые подъемники. Прорабы духа — вы правы, Ирина Александровна! — не только те, что стоят на гранитных пьедесталах, но и те «чокнутые фантазеры», по вашему выражению, как ваш сын.

Спасибо за него. Спасибо крымским каменщикам и строителям, которые бережно, в короткий срок уложили белым камнем и плитами полтора святых километра рва, а ныне завершают сооружение Поля Памяти с 5-метровым камнем на нем.

Сентябрь 1986 г.

РОССИЯ ВОСКРЕСЕ

Слава Тебе за указание тайного голоса,
слава Тебе за откровение во сне и наяву...
Икос 10
Акафист Благодарственный

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас
тысячами Твоих созданий.
Икос 3

I

ПРЕДНАЧЕРТАТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

1. Я Пасху пишу на дощатом навесе —
2. «Россия воскресе!»
3. Над черной дырою на том самом месте,
4. где мы провалились, где жили в острейшей
5. тоске неземного, поверивши дезе.
6. Мы — нищие Крезы.
7. Всемирною нищенкой на протезе
8. *Россия воскресе!*

9. Я ползаю по скорлупе из асбеста,
10. стелю под подошвы некрологи в прессе.
11. Мы, ставя антенны, сломали скворешни,
12. но только в скворчатах Россия воскресе!

13. Ты помнишь, как мы заблудились в Залесье?
14. За что нам возмездье?
15. Мы разве живем? В многоразовом презе-
16. рративе экрана уносят нас «Вести»
17. в края, где Калашников ценится в песо,
18. где пулей черкеса из «мерседеса»
19. подрезали геза-головореза,
20. рязанского может. Всем без интереса.
21. Осколки России — диагноз болезни.
За что нам возмездье?

Мы — в мире без нас. Где бурнусы и пейсы
в тоске Боба Дилана по Одессе,
в сиротском, врага потерявшем конгрессе.
Как теза тоскует по антитезе!
Пропавшее слово в глобальном контексте —
«Россия воскресе!»

За что нам возмездье? Диванчику в репсе,
где спишь ты, свернувшись в калачик, как скрепка,
а утром встречаешь меня с первым рейсом,
любовью воскресе...

Чем мы провинились? Что пьем варенец мы?
Иль тем, что в глазах твоих плыли от леса
вспышки зеленого веронезе?

Тебе обещаю: «Россия воскресе»,
хоть сам я не верю в чудеси-нездеси.
Нас нету, согласно законам Паскаля.
Я предпочитаю законы пасхальные.
Россия воскресе.

В следах от помады зардела скворешня.
Светают домов золотые обрезы.
И может быть, в этом стихотворенье
Россия воскресе.
А вдруг ее нету, как чудища Несси?

ПСАЛОМ СОВЕСТИ

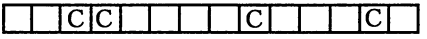
Мой прадед-священник явился из скверны.
Сказал: «Вы страну загубили в скабрезе.
Отныне в словах твоих — хоть упейся! —
появится эхо — *„Россия воскресе“*».

Пропавшую рифму ищу в поднебесье.

ГИПСОВЫЙ ПСАЛОМ

По куполу глобуса, вспомнив профессию,
пишу синим флейцем,

44. на гиндукушском рисую эфесе,
45. на эйфелевом корсете,
46. на бунинском мстительном ирокезе, —
47. слова подбираю, как шифры на кейсе,
48. дал поле-чудесный церемониймейстер
    четырнадцать клеток —



49. на камнях Катыни — приветик Валенсе! —
50. на Плаче Стены, как на белой дискете,
51. на русской церковке Марии, все крепче
52. стоны Гефсимана обнявшей при въезде,
53. и где твой нью-йоркский поблескивал крестик, пишу
    Твое имя с приставкой «воскресе»

54. и не замечаю, как в мрак ноги свеся,
55. боль бомжа пишу я на вилле Боргезе,
56. и стоны старухи о райсобесе,
57. десяток яиц стоит тысячу двести,
58. и нищие взгляды вцепились, как клещи, —
    вдруг с помощью Божьей и правда воскресе?
59. За что нам возмездье? По Маросейке
60. бежали ненависти отсеки.
    Из стойла рабсилы, из ваксы бесчестья
    небесной апсидой Россия воскресе!

А кто-то добавил — «Мария воскресе».

ПСАЛОМ ПЕРВОГО СЛОВА

65. Из Яффы летит апельсин над апрельской
66. Марией. Досель понимавшая в чреслах,
67. она поняла Его сутью безгрешной.
68. Воскресший к ней первой явился. И, перси
    прикрыв, первой в мире сказала: «Воскресе».

69. Приехал Есерксов, из южных эсеров,
70. в руке его тикал букет эдельвейсов.
71. А я на останках империи Ксеркса
72. писал знаки Пасхи. И танки, как пресс-па-

73. пье, кровь промокали единоверцев.
74. Она побежала к Петру. Ее версии
75. никто не поверил. Для денег на ксероксе
76. не хватит бумаги. В Империи скверно.
77. Гуманны созвездия Троице-Сергиевские.
78. Твои телевизоры, вдетые в серьги,
79. транслируют Сербию. И Анне Вески.
80. Но смысл мирозданья был в маленьком скверике,
    где миндалевидная Магдалина
    вглядывалась в Неизвестного.
81. Оставив границы, из тела и Текста,
82. как из Плащаницы, прощенье воскресе!

    А вдруг я убил ее с вами вмéсте?

83. Умресе твои упыри в кариесе!
84. Грехи умозрительные умресе!
85. Не Урмас, Господь призывает ответствовать,
86. Ты, Господи, — гений или злодейство?
87. Не по-христиански творить возмездье!

88. Я в Курске до света с пацанкой беседовал,
89. что ищет скелеты в лесу бересклетовом,
90. пропавшие без вести, с пулею «мессера».
91. Ты их воскресишь, двадцатилетних.
    Скелеты умресе, взор синий воскресе.
    Ей-то за что возмездье?

92. Скелеты по факсу общаются весело.
93. Скелеты меня обнимают при встрече,
94. Скелетик воды акварелью повесили.
95. Скелеты умресе — искусство воскресе!
96. Читатель, умаялись? Извинесе.

ПСАЛОМ ВТОРОГО СЛОВА

97. Матфей стоял в очереди за гречкой,
    она закричала ему «воскресе!».
98. «Воистину», — им милицейский ответствовал,
99. яичку кокардой цветной соответствуя.

Потом она пасхи месила и кексы,
цукаты, засахаренные орехи,
закаты народов, надежды, огрехи,
Москве недоступные деликатесы, —
за католической Пасхой, еврейской,
идет православное благовестье,
мы Слово ее повторяем безгрешное.
И проституток расстреливал крейсер,
чтобы не промолвили это «воскресе...».

Под степью башкирской я чувствую рези.
(Мне виделось золото купола Невского.
Его отраженье — как рюмочка хереса.
А как его выпить, увы, неизвестно...)
Крихели с артелью внимательным рейсфе-
дером корректировал мои ереси.
У Криса поехала крыша. Но если
я явственно слышу — «Россия воскресе!» —
в распадах Булеза, в снежинке Плисецкой,
в астафьевских «за́тесях» или «зате́сях»?!
И в шепоте леса,
где белые с черным берез диезы
кричат безответно: «России воскресе!»

В лесу раздавался топор дровосека.
Раскольников тренировался на секции.
Мозги старушки хранили генсека
и музыку Пресли.

Как ты ненавидишь мои курослепы!

САЛОННЫЙ ПСАЛОМ

Пишу я, дыша эпоксидною смесью,
скелет скорлупы покрываю словесно.
Уйдя в видеомы, художеств наперсник,
я истосковался по рифмам, по перлам
Твоих выражений, Твоим фельдеперсам,
по прошлому, сброшенному на кресла,
по ненормативной беспамятной лексике,
что пахнет кофе и ломтиком персика...

128. Не первым я был у тебя, но я первым
129. Тебя воскресил из хрустального стресса.
Красиво исчезла — красиво воскресе,
130. заместительница возмездья!
131. Претензии женщины чисто имперские.
132. Империалистка, налей-ка искрейшего:
«За упокой Империи!»

133. Мария из косм выдирала репейники.
134. Как плавник акулий, сверкнут волнорезы,
135. Ростральной колонной Россия воскресе.

ПСАЛОМ СЛОМА

136. Что в нас воскресает? Народное зверство
137. над одиночкой? Народное сердце,
138. простившее адские муки репрессий?
139. Зачем Он доверился женщине бездны?
А может, не надо, чтоб это воскресло?
140. Зачем достоевская эпилепсия?

Планета теряет без нас равновесье.
141. Возмездьем несло из могилы отверстой.
142. Пяту ампутировали Ахиллесу.
143. Бессмертие было. Совсем охеревши,
144. полкурицы мчалось. Вернулся Вольф Месси...
С «НГ» было плохо. Рашидов воскресе.
145. Урезали пеней. Все взбеси депресси.
146. «Гомер я», — аппендикс выл, требуя секса.
147. Мы — дыры сознанья в безумном процессе!
Как терка, толпа состоит из отверстий.
148. В них ненависть хлещет — святили АЭСы —
в дырявое время. За что нам возмездье?

149. Операция без анестези...
150. И дыры без труб завывают в оркестре.

За что нам возмездье? Но мы же поместья
151. сжигали? Блевали на столик принцессы!
152. За что нам повестка? За грезы прогресса
России возмездье? Россия воскресе.

153. «Господа, вам нужны великие потрясе...»
154. Россия — возмездье. Оборвана пьеса.

ВЕРБНЫЙ ПСАЛОМ

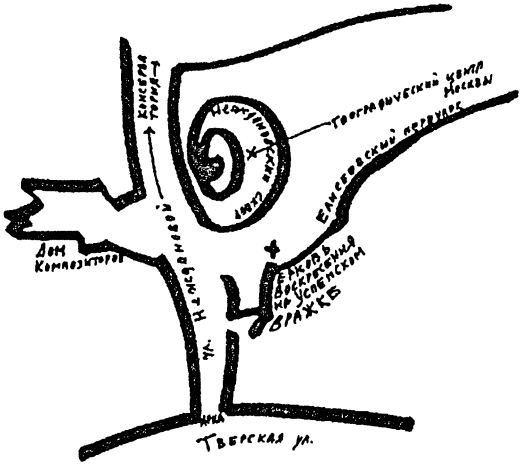
155. Напротив шла служба. Метельной завесой
156. плыл храм Воскресенья. Господни невесты
157. Цветную Триодь выносили для песни.
158. В неждановском скверике было тесно
159. от прелестей бездны и женщин небесных.
160. Товарки Марии кадрили полпредства.
161. И ненависть била, как газ из отверстий.

162. Я думал, как Он изменился, воскресши!
163. Мария Его не узнала. У склепа
164. садовник ей виделся в затрапезе.
165. — Мария, узнай меня поскорее!
166. Россия, узнай мои руки, колени!
Омой мои муки слезами ослепшими.
167. Вдруг мы не узнаем России воскресшей?
168. Узнай нас, Господи, в талом клейстере!

169. Есерксов настраивал эдельвейсы.
И смысл неизбежный клубился над месивом.

170. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
171. Обнимемся крепче под ветром возмездья.
При свете экрана — любовью воскресе! —
172. похристосуемся при Съезде.
Похристосуемся, Неизвестное!
173. Похристосуемся, дыры бездны.
174. Похристосуемся, буревестник,
175. отставной провокатор бедствий.
176. Похристосуемся, бесы,
177. друг, предавший меня из спеси,
вера, всех предавшая вместе,
похристосуемся, критикесса.
За Мариею вслед — Каренина
178. похристосовалась с рельсами.

179. Похристосуемся, крестники.
Скорлупа треснула.
Вылупились песни.
Не уехал я в край сиесты,
чтоб Тебе прошептать «Воскресе».



МНОГОГЛАСНЫЙ ПСАЛОМ

180. — *Русь, ты вся поцелуй на морозе.*
— *СССР поцелуй на Мавзолее.*
— *Похристосовались бы в Форосе, в Меласе.*
— *В Сухуми, милаша...*
— *Улисс, не засовывай в уши воск лести!*
— *Не псалом, а Шолом-Алейхем...*
— *Я отколупнул скорлупку, а там коленка.*
— *Керенки воскресе!*

181. Две молнии в туче взвились как «эсэсы».
За ней кто-то шел. «Блядоходный повеса», —
182. решила Мария. Но кто глыбу гнейса
183. снес с входа в пещеру, грунта не соскребши?
Выл свет незнакомый знакомым донельзя.

184. Мы въехали в Ерус — трансляция кнессета с роком
мешалась — алима предместье.
Ты в жизнь мою въелась, как уголь древесный.

185. Щекочут ресничек тычинки и пестики.
Нам Бог открывается лишь через грешницу.
Таились мессии в садовых насестах.

А что говорили другие Марии?
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Слова-то какие, — сказала Мария.
Сказала Мария: «Россия воскресе».

ПСАЛОМ СОЛНЦА

186. Кесарю кесарево —
Воскресшему воскресово.

Скворцы прилетели. Россия воскресе.
Сквозь тучи прорезался месяц консервный.
Фарца в важных креслах. Разруха. Но если
скворцы прилетели — Россия воскресе.
В отеле «Россия» наряд милицейский
187. сменили ангелы милосердные.
Прощенье! Прощенье! Отец, мать воскресе.
188. Воскресе стрекозы, как тень от двуперстия.
189. И крестик серийный в сирени персейшей,
190. и в вязаной шапке Твоих происшествий.
Есерксов обертывается: «воскресе!»
Воскресе, враг. Гирей противовеса
нас взвей в поднебесье!
193. Воскресе стихи на страницах «Известий».
И в каждой из женщин Мария воскресе.

Я слово «прощенье» пишу на возмездье
194. в массмедиа мессе.
195. Любовь — это ненависти конверсия.

РОССИЯ ВОСКРЕСЕ. ЛЮБОВЬЮ ВОСКРЕСЕ.

СТЕРЕОПСАЛОМ

I. Россию хоронят. Некрологи в прессе.
II. Но я повторяю — Россия воскресе.
III. Помолимся вместе за тех, кто в отъезде,

IV. за ближних и дальних помолимся вместе,
V. за тех, кто страдает и кто в «мерседесе»,
VI. за бомжа, что спит, не на вилле Боргезе,
VII. пусть с помощью Божьей Россия воскресе!
VIII. Хоть кровь ежедневная вносит коррекции
IX. в надежды на воскрешенье скорейшее,
X. помолимся вместе за песни из пепла,
XI. за то поколенье, что выбрало пепси.
XII. Мы, ставя антенны, сломали скворешни,
XIII. но только в скворчатах Россия воскресе.
XIV. Целуйтесь на сквере, рифмуйтесь в подъезде!
XV. Обряд многократный любви повтори.
XVI. Тебя я люблю. Ай лав ю. Ай эм крейзи.
XVII. И нет демократии, кроме любви.
XVIII. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
XIX. Нам, храм Воскресенья, врата отвори.
XX. Стоят на балконе людей эдельвейсы.
XXI. Россия воскресе, воскресе в любви.

P. S. ПСАЛОМ

196. Как двести поклонов пустынник в аскезе,
197. шепчу — вдруг спасет Тебя? — строк этих двести.
198. За слог мой оборванный, Отче Небесный,
199. прости раба Божья Андрея Вознесе...

II

ПСАЛОМ ВТОРОГО ДЫХАНИЯ

Судьбой, принимаемой за инсталляцию,
на третью ночь после 18-го
— 200. я крикнул «Воскресе!» с помоста, как с пристани.
— 199. «Воистину!» —
— 198. мне дух, за толпу принимаемый издали,
— 197. ответил в неждановском сквере безлиственном.
«Воскресе» рифмуется только с «воистину».
— 196. «Я выстону, —
— 195. думалось, — боль вашу выстрою

— 194. дырою, орущей, разинувшей гипсину».
— 193. И нищенки пели под свечку актрисину:
«Воистину...»

Быть страшно орущей дырою в России,
когда все орут сквозь тебя, воя истину.
До крови исповедью разинув.

— 192. Потом все орут на тебя. Так же искренне.
Но в криках «вались ты!» я слышу «воистину!».
— 191. И дух, за бомжа принимаемый издали,
— 190. дыру трактовал: «Чудотворную спиндили».
— 189. «Браависсимо», — наши вопили вориссимы,
— 188. и пахли канистры ценой независимой.
— 187. Хотелось, вернувшись в Ижевск из Устинова,
— 186. воскреснуть воистину.
— 184. И яйца над храмом окраски матиссиной
— 183. молились юродивому Василию.
Как нам разгадал бы кроссворд по Листьеву?

		С			С		

— 182. Но все это было, увы, невоистину.
— 181. А кто виновники ненавистные?
— 180. Судья просит срок, а поэт — амнистию.

— 179. Не ведали рифмы Овидия «Tristia».
— 178. В сближении слов есть предчувствие христиа-
— 177. нского поцелуя. Но первую дистан-
— 176. ционную рифму, в тоске палестинской,
— 175. вдохнула в нас женщина группы риска.

ПСАЛОМ СОЛЬВЕЙГ

— 174. С утра холодило. Подобно ватину,
шли мокрые хлопья. Вдруг небо расчистилось.
Презрев институты, забыв магазины,
стояла всеобщая Магдалина —
— 173. душа, принимаемая за туристку,
— 172. за дурь принимаемая фрейдистскую,
— 171. за бабку с редиской, за отроковицу,

— 170. за шелест имени Селестина.
— 169. Стояли, измучась дороговизною.
— 168. И было радостно, хоть и выстраданно.
— 166. И ты, за свечу принимаема истемна,
— 165. стоишь, согреваясь движением твиста,
переминаясь в ботинках, — прости меня!..
— 164. Стояли, спасая страну ивасиную.
Шептали: «Воистину», — слово Пречистое
Святой проститутки из Палестины.

ВИДЕОПСАЛОМ

— 163. Не белую чашу с полночного выступа —
я родину на осмеяние выставил.
— 162. Освистана,
— 161. стояла она, матерщиной надписана,
ее пьедесталы мочою описаны,
но лица светлели от отсвета гипсины,
— 160. и лазали дети, на радость Фонвизину,
из дырок торчали чумазые физии —
Россия в скворчатах воскресе воистину.
«Списписпис...» — им пишут вкруг глобуса кисти.
Пусть спится Вселенной под дождик таинственный.

Бог — тезка Гребенщикова Бориса —
— 159. БГ признается (штанины впятнистину!),
чтоб я оклемался, на трассе разбившись, —
— 158. он свечку поставил. С тех пор фаталиствую.

Но черною чашею тень исполинская
проплыла по зрителям и исполнителям.

Да минет нас чаша сия, Россия!
За что твои беженцы во поле стынут?
Ужель Севастополь, хрущевский гостинец,
Толстым защищенный и флота любимец,
— 157. войной в нас заложен? И наши баллисти-
ческие ракеты на нас же с присвистом
из дыр преисподней вернутся сегодня,
— 156. взяв курс на Пречистенку вместо Принстона?!

Дай Бог, чтобы это все невоистину.

АВТОПСАЛОМ

Молюсь Ти глоссолалией формалиста.
Не понимающий, что записываю,
— 155. России последний евангелист я —
— 154. Голгоф, принимаемых за Пречистенки.
В Москве, принимаемой за столицу, —
верхом на метелях летят ангелицы —
пишу Твои мысли, обмолвки, Мытищи,
— 153. смерть, принимаемую за велосипедиста,
— 152. в траве, принимаемой шинами лысыми,
— 151. Твои смутившиеся аметисты —
молюсь Ти: «продлись Ти, не запропасти Ти»,
молю Те разлуки, Те избы, Те пристани,
— 150. сквозь политическую апокалиптисину
впишу от себя Тебе слово «Воистину» —
— 149. душой, принимаемой за стилистику.

Спустись Ти
шина, Как с глушителем выстрел.

ПСАЛОМ 2

Зачем запретил Он коснуться молитвенно
Марии, к нему простирающей кисти?
— 148. Чтоб не облучить ее? Тень кипарисную
напоминал Он. Сияя, струился.
Потом растворился в рассвете малиновом.
— 147. Кем камень отвален? Отвальная. Иска-
риота искать уже было бессмысленно.
«Учитель, — подумала с укоризною, —
зачем, не коснувшись, расстаться предписано?»

«Воистину страшно, мне страшно воистину,
— 146. что я не увижу мою воспитанницу.
Увижу иную, но не земную.
Отец наказал твою землю дурную.
Мы расстаемся без поцелуя.

Ты станешь искать мои губы в пустыне
людской. Я оставил свой след на холстине.

Двумя остаемся словами простыми.
Падут и подымутся новые Римы.
И нас миллионы, забыв атавистину,
повторят земными устами своими.

Мы в их поцелуе неостановимом
воскреснем воистину.
— 145. Воистину жизнь нам дается вомилостыню».

Плыл дух, за людей принимаемый издавна,
— 144. плыл призрак, за жизнь принимаемый сызнова,
и власть, принимаемая за истину,
братоубийство — за независимость.
Держав угасанье. И снова касанье.
Воскресе в любви, чьи законы неписаны,
и нет доказательств, кроме «воистину».

ПСАЛОМ БЛАГОДАТИ

— 143. А после любви он чихает. В гостинице
— 142. смеются: «Во время? Нет, после взаимности!
Гость после мэйк-лавки чихать ка-ак примется!»
— 141. На что аллергия? на чью-то душистину?
— 140. Подруги меняют сорта Дориссимо.
— 139. А он все чихает, хохочет всластистину,
— 138. в слезах очищенья! А может, в интимностях
— 137. у ей табакерка? Заявка на Гиннесса?
— 136. Она, значит, в ванну, а он — в апчихистину?!
Как там у Апчехова? Ему б чаепитье!..
— 135. Обчистили номер. А он в сладком приступе.
— 134. Чихает в Чикаго, в Саратове, в Виннице!
Шатаются стены. Летит черепица.
— 133. Апчественность в шоке. Закрыть визу свинтусу!
Ах, черт, все чихает, в минуту Пречистую...
По-русски «апчхи» означает «воистину».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

— 132. — К чему бы, Таисия?
— 131. Мне снится, что я выступаю арфисткою

в какой-то пустой Сальвадора Далине
и кто-то вошел. Не видать за софитами.
Но свет воскрешенный, как струны, струится.
И Он мне сказал: «Прикоснись, Магдалина».

А я в своих джинсах под пряжкой армейскою,
я белое платье не смоделировала.
Я не понимаю по-арамейски.
Но Он мне сказал: «Прикоснись, Магдалина».
Пошло пианиссимо, знаешь, Таисия...

ПСАЛОМ ГРЕЗ

— Что снится нам в яви? Я сонник выписываю.
— 130. «Дерьмо снится к деньгам». Скажу без хвастистины:
— 129. Дерьма у нас много. Дерьмо растет систе-
матически. Тесно ему в Отечестве.
Денежная масса растет соответственно.

ПСАЛОМ МОД

Попса ломится на спуск Васильевский
попсаломиться. Я тоже выступлю
(конечно, мысленно — сквозь гип-гипсину):
— 128. «Живите по сердцу, а не по Гибсону!
Эпоху винтиков сменили видики.
— 125. Я за деятельность интенсивну-
ю-ю», — подхватили, трезвы несильно,
— 124. пацан и мужик, десять лет в отсидине,
— 123. заевши ситным с репринта Сытина.
И я разорвал выступленье стильное:

— 122. «.....орическую шестерню?
— 121. ....ню, принимаемое за «Three sisters'ню»
— 117. .....вободу транзисторную,
— 116. .....лови струю!
— 114. .....иск Ассизск
— 113. .....явись, Ти!
— 112. .....лимонов за триста, ну?
.....воистину».

— 111. флейта, принимаемая за клистир,
— 110. звучала мукой авангардиста.
— 109. Ряженых, ряженых! Простим Бастилию.
— 108. Хохоту! Каялись б. властители.

Весна хохотала, плясали школьники,
подняв двуперстия, как раскольники.
— 107. И голубь чихал — к Благовещенью чистился.

— 106. Вий телевийствовал.
— 105. И, отделенная от действительности,
— 104. мертвой головы сюрреалистина
— 103. спихивала витязя.
— 102. И все это тоже были истины.

ПСАЛОМ 3

Примите бесалол, Абессаломы
— 101. воинственные.
Против псалома нету приема. Воистину.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

— 100. — Ну какая я дум властительница?
Мы все — гостиничные Магдалины.
Повсюду кающиеся мордины!
— 99. Страна берет — от Кремля до Диксона.
— 98. Дай шефу, дай приставу, дай водителю.
— 97. И все в тебя лезут без вазелина.

— 96. Россия дает осетину и Иштвану.
Оизденевшая от безденежья,
в толпе принимаемая за Нездешнюю,
я тело снимаю, как прозодежду
от Валентино.

Я подрабатываю дырою, как Вы душою, —
прости за исповедь.
Попробуйте жизнь за зеленью выстоять:
в колготках, примерзших к первопричине!

— 95. Я паспорт сменила — еще серпистее.
Пойду проповедовать у Вестминстера
основы нашего профессионализма.
— 94. Ораторов наших заткнуть бы сиською!
— 93. Все брешут!
НУ ГДЕ ЖЕ ФРАНЦИСК РОССИЙСКИЙ?!
Мне снится, что я выступаю арфисткой.
— 92. Пошло охурительное пианиссимо!
— 91. И я поняла, что попала аистино...
— 90. Сама я рожу для себя Спасителя.
— 89. Шампунем ноженьки ему выстираю.
— 88. Мне снится — с коляской иду батистовой.
— 87. И хурь подойдете ко мне на выстрел!
Вы все — Магдалины, но без воистину.

ПСАЛОМНИЧНИК

Ветрено!
— 86. Сбивает головы, как пулей вестерна.
Морозоустойчивые истицы,
— 85. интеллигентки мороз сволочистили.
Как с фрески софийской их лица (официальных лиц не было) или с Уффици.
— 84. Кто в нашем кругу? В ореоле софитов
— 83. в псаломный подсолнечник судьбы притиснуты.
Ты — темное семечко с мыслью дитяти,
вдоль тела с каемочкой адидаса,
— 82. куда ты, истенок, сбежавшая из дому?
— 81. Откуда ты молнию помнишь вольтистую?
— 80. И камень пещеры, как вытянутый из стены?
И как ты впервые сказала: «Воистину».
— 79. Никто не поверит в твою спиритистину.

ПСАЛОМ ДЕТСАДА

Я — малолетняя Магдалина.
— 78. Живу в подвалах. Добавь на виски.
Кошка, беременная, как мандолина, —
— 77. мой друг единственный.

— 76. Ее подвешивали за хвостину.
Меня распинали — и душа хрустнула.
И ненаписанным осталось устное
Св. Писание от Магдалины.

— 75. На небе серписто. На сцене «Секс-пистолы»
— 74. дымились. Босые пантомимисты
— 73. от стужи к доскам примерзали, шекспирствуя.
— 72. В распахнутом весте, искусственно-лисьем,
разбей, Магдалина, яичко малиновое,
— 71. два тысячелетья в себе скостивши!

ПСАЛОМ ЭПСИЛОН

— 70. Он пробовал в ванной. Все зеркало в брызгах.
— 69. Соседские дети за стенкою прыскают.
— 68. «Совистенно!» — ветры свистали вотместину.
— 67. На кладбище гипса все те же статисты
— 66. топтали осколки генералиссим-
— 65. усов, впав в постмистику. Грызлись взавистину.
— 64. Вострастину гнали абстрактную глистину.
— 63. Спешили — кто в уни — тсс! Иов... — Витийствовали.
— 62. А он все чихает себе независимо.

— 61. Как выжила ты в этом юморе висельном?
— 60. Но кто независимый, тот независтливый.
— 59. А что он читает? Похоже, не Ибсена.
— 58. А он все чихает, чихает неистово.
— 57. Медали чеканят. Честят теннисиста.
А он все чихает, чихает неистово.

— 56. Глуха философская фаустыня.
— 55. Учусь у мистических атомистов
— 54. духовным синицам и грядкам редиса,
— 53. не диспутам — маслу для М. В. Фетисовой,
которой на пенсию не прокормиться.
«Живых воскресить бы» — сейчас моя истина.
— 52. «ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ», — шепчу неуместно —
— 51. от горя, от вируса ненавистины
ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ, ВОСКРЕСЕ ВОИСТИНУ!
– 50. А вдруг приживется нижегороднее
Явлинское Христа народу?

— 49. Но поздно. В руинах социализма
— 48. с вас снимут пальто патрули альтруизма.
— 47. Моим Магдалинам пора отрулиться.
— 46. А он все чихает, поклонник «Улисса».
— 45. Спасибо за лирное время вестибу,
забывшее рифму. Глухо.

ПОСТНЫЙ ПСАЛОМ

Мы слушаем брюхом, а не ухом.

Я слушаю клавесин — слышу «колбаса»,
слушаю Шостаковича — слышу рубятся бифштексы,
слушаю «готовится путч» — слышу «сосиски с капустой»,
слушаю «приватизация» — слышу «заяц по-домашнему»,
слушаю сессию — слышу «съесть бы кого»,
пока слушаю «1000 ре» — слышу «3000»,
слушаю «Мальборо» — слышу «малютку кормить не на что»,
слушаю «кормить не на что» — слышу «стерлядь по-министерски»,
слушаю «по-монастырски» — слышу «блин!».
«Влип!..» — твои блинчики подгорели.

А в животах стеклянных у женщин,
как в новых круглых пузырях-автоматах,
висят сгорбившиеся красные
телефонные трубки
на пружинках пуповин.
Они соединяются с тем, что было, —
и с тем, что будет.
Но генетическому коду.

Не суйте в женщин гнутые монеты.

А доктор с прямыми ногтями
кладет на них слушающие руки.
«Что за черт там чихает без маски?
Ну, слушаю. Не надо кесарева.
— 44. *Насчет мастита выясню».*
Слушайте духом, а не ухом.

ПСАЛОМ СОЗВЕЗДИЯ ПСОВ

Шла Пасха, по-видимому.
— 43. Страну, как гусей, гнал мужик хворостиною
— 42. из III-го Рима на рынок. В остынную
— 41. какую-то пору живем мы, в постылую.
Ты глухо хвораешь. Молюсь, чтобы выздоровела.
Спасти можно только любовью воистину.

— 40. Реальность пессимистич-
на. Даль еще песси-
мистичней. Воистине
любовью воскресе.

Последнее «опти»
зарежут без выстрела.
Но в Оптином шепоте
слышно: «Воистину...»

— 39. В лесу живет бомж Анатолий Анисимович,
под ржаным капотом шалаш смастеривши,
— 38. кому-то медали продав на монисты,
— 37. под ивою, над пестицидной водицею
живет и. о. Иова. Страшно воистину
от тихой улыбочки вопросительной.

Дрожат гардеробные бирки в осинниках.
— 36. Грешно юбилеев справлять акафистину,
когда все катится невоистину.
Я в Суздаль уеду. Когда неспасимо,
зачем притяжение рифмы так сильно?

ОСЕННИЙ ПСАЛОМ

Люблю нашу действитель-
— 35. ность. Вечер над Истрою
— 34. люблю. Городишки дыру неказистую
— 33. люблю. Биллиардное поле озимое,
как позднюю страсть меж мешков увозимых,
— 32. люблю. С рыбачками приятствую в диспутах.

— 31. Закинувши голову в темную высину,
я — только дистанционный смотритель,
как падают рифмы путями хвостистыми.
— 30. Вопьюсь в отраженье кометы под пирсами.
— 29. Вампирствую.

— 28. Уж осень? Ах, осень... Темнеет стремительно.
— 27. Лес пахнет анисовкой.
— 26. Лес пахнет, как страсть Пастернака семидесяти-
летнего: «Простимся...»
Неужто и это все невоистину?

— 25. Империя тонет. Открыть дыры кингстонов!
— 24. Мы — Фирсы истории, а не крысы.
— 23. Набрать воздух в инстру...
Ну за какую, скажите мне, истину
— 22. летят Сорок дней, вопрошая нас пристально,
летят, на полслове оборваны, жизни
— 21. тюльпанами черными из Таджикиста..?

А ЧЕРТ ВСЕ ЧИХАЕТ, ХОХОЧЕТ НАД ТРИЗНОЮ.
Но если и правда Апокалиптисина —
зачем так рифмуется нынче немыслимо?
— 20. И в мальчике с пальчиками вслед Кисину,
баховской мессой почти превративши
— 19. консерваторские зубочистки
в гусиные перья евангелистов,
с листа проиграет мою писанину
— 18. его паническое пианиссимо...

СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ

— 17. Шли в институ
— 16. ты так рифмуешься со всем Плыли инстинк
ты так рифмуешься со всем единственно
сквозь всех подойдешь на ходу снявши клипсы
Пасхальную истину
— 15. таят твои губы по-местному «липсины»
Ты свитер
снимаешь через голову как тюльпан
делая йогу ты так же снимаешь с себя тело

С тобою рифмуясь, с ночного пиона
скользнет лепесток по стеблям заголенным,
когда ты умыться бежишь полусонно
в рубашке моей, где края закругленные.

Вернешься, дрожа холодрыгой знобисто, —
— 14. А сад чем ознобнее, тем соловьистее! —
— 12. Уткнувшись в отросшую щеку ворсистую,
— 11. ответишь мне выдохом с привкусом «Винстона»:
«Воистину».

III

ЗАМКОВЫЙ ПСАЛОМ

I. С окружной к Покровскому-Стрешневу
слышу шепот сквозь Времени трещину:
«Я воскристину, я воскрестину...

II. Мне свои не узнать окрестности!
Сквозь твою, поэт, манускриптину
я воскристину

III. по крупицам, по кругу, по гривеннику,
жизнь по кругу идет, по Гринвичу...»
За углом стоит Византийщина.

IV. И синоптики палестинские
пишут мыслящими тростинками
непонятный глагол «воскристину».

V. Что гадаешь нам, сербиянка?
Не скоблянку едим — скорбянку.
Все бессребреники Сбербанка.

VI. Воскрешает, кто камень кресит.
Наше кредо слетает искрами.
Мы в порядке. В порядке бреда.

VII. В Назарет летят аспирантки,
презрев гегелевские предо-
хранительные спирали.

VIII. Жизнь проходит круговоротно,
повторяя венок сонетный.
Снова войны из-за Тавриды?

IX. Заплетаю венок сомнений.
Строю арочные ворота.
Круг молитвенный сотворился.

X. Не концовки сонетной калька,
в центре арки — замковый камень,
тот, что Ангелом отвалился.

XI. Пусть отвергнут камень филистеры,
в камне плачущем перст оттиснутый...
«А воскрестину слышу — воскристину...»
Мне не надо кристальной истины.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПСАЛОМ

Судьба, принимаемся за инсталляцию,
простимся. Крап дышит соляркою.
И белая пешка, внизу приталированная
— 10. рукою невидимой шахматиста
— 9. с доски подымается. К новым экзистен-
— 8. циальным ходам? К намереньям таинственным?

Тобой москвичи изгалялись талантливо.
Ты рот разевала для ингаляции.
Ужель ностальгия по настоящему
являлась тоской по такой инсталляции?
Читатель, чихатель мой постоянный,
прости — на столе твоем нету салями.

— 7. К чему ты, скульптурка эпистолярная
с дырою России, от нас удаляющейся?
Удалили без болеутоляющего.

Тебе — по бульварам, а мне — по Солянке.
Ты скрылась за башенкой итальянскою,
за домом Таирова...

ПОСТПСАЛОМ

— 6. Зачем Ты нам, Господи, инсталлировал
иерусалимскую инсталляцию?
Гора. И дыра опустевшей гробницы.
На Плащанице следы радиации.
И первая зрительница, молящаяся,
в сравнении с космосом Божьим — малявочка,
— 5. уже не блудница, еще не пустынница,
с неповторимою интонацией —
— 4. под шорох пустыни, как шифер волнистый, —
себе повторяя:
«Воскресе? Воистину».

Зачем Ты внушил мне в Москве ее выставить
— 3. под крики: «Во инста!»?
— 2. Затем ли, чтоб души воскресли из мглистины?

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ

1. Я Пасху пишу на дощатом навесе.

27-IV-94

Наверно, не гунны и не черкесы.

У Дома кино, в понедельник, на Брестской,
с земли подымаю, сжимая до рези,
два грязных осколка... оссия ...оскресе...
За веру в любо... и ...овече... прогресси...
прости раба Божья, Андрея Вознесе...

1994

Мне четырнадцать лет

Рифмы прозы

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его истопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка.

Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — изумрудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

*

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взахлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

*

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура, стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поеживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая, как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в „Сказке“ я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды.
Реки. Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль ту он заглушал гаерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку...

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавая пальто.

*

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная грустная Нина Дорлиак, графичная, как черные кружева.

Какой стол без самовара?

Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды он явился при всех своих медалях. Росту он был петровского. Его сажали в торец стола, напротив хозяина. Он шумел, блистал. В него входило, наверное, несколько ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал он и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков куншток! А он сказал: „Дай лапу мне...“ Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по-турецки и что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Когда уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам арт-нуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя как в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

На звон трамваев, одурев,
Облокотились облака.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, его монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

*

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине есть четкость ранней осени, он будто всегда

сорокалетний. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. На сцене в поединке с Тибальдом блистал Ромео — Юрий Любимов, тогда герой-любовник Театра Вахтангова, еще не помышлявший ни о будущем театре, ни о том, что он будет ставить «Гамлета» в пастернаковском переводе и его военные стихи.

Вдруг любимовская шпага ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Пастернак смеется. Но вот уже аплодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пиры были его отдохновением. Работал он галерно. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, он не любил скабрезностей и бытового мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане нападали на его друга за то, что тот напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,

Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

*

Поддержка его мне была в самой его жизни, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний женский силуэт, похожий на врубелевскую майоликовую музу. Смуглая голова поэта тяжко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

*

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидая ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее, не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

*

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания „Верст“?» — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «Заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправлял их на столе, разглаживал, как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавщик ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», он внезапно бросил писать

вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньицем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт, — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. «Зухрр», — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утрен-

ний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Может быть, он стал барыгой, воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

*

Почему поэты умирают?

Почему началась Первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со Временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

*

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посаде, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посаде, куда ни одна...» — и так далее, создавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется Время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди своего серого потока посредственных стихов. Он был прав:

зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положеньем риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

*

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оран-

жевые, изумрудные и краплачно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете.
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье...
А в городе на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри него.

И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград...

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожбе. Какое ощущение детства человечества на грани язычества и предвкушения уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне вместе с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень:

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратить в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская Мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелков, зритель не сразу замечает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания Мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них

внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» соперничала с масскультурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён», — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры.
Все будущее галерей и музеев...

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Старого и Нового Завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальвадора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружавшего его быта и обихода.

Какая русская, московская даже, чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей.

Нас отбрасывала в детство
Белокурая копна...

А какой вещий знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздает себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

*

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген.
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя — жизнь», и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил...
Финики, книги, игры, нуга.
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.

Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство празднества, скрябинский прелюдный фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья...
Масок и ряженых движется улей...
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей...
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя...

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже — 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевелового куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

*

Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили.

«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные... И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый „интересный человек". С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то лестную исключительность, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность».

Позже он повторил это в своей речи на пленуме Правления СП в Минске в 1936 году.

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна — природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, — это не потерять способности писать, то есть чувствовать, способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут.

Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды...

Тпр-р! Ну вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все биография его чудотворства.

А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. Это мета мастера. «Где, как обугленные груши, на ветках тысячи грачей» — это «Начальная пора». А гениальная графика военных лет:

И летят грачей девятки,
Черные девятки треф.

И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных ракит, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического пейзажа. И свили свои переделкинские гнезда там.

*

Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа, он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он чтил Заболоцкого. Будучи членом Правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравию». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просиял.

Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».

*

В эвакуации мы жили за Уралом. Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шустрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в Ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньицем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы пошли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя — так выли волки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку, Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи.

*

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей...

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.

*

Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна ранняя бурная странная — деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гёте — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все

открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение с и л ы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта — а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила форм — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковского — потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает чуковского крокодила?

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие де ла рю — октябрю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделывать — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

*

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.

Он исправил: «...неустанно столетья поплывут из темноты...»

Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, — он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты городского пейзажа.

Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла,
Поводя боками...

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: „Пересекши глубь двора...“».

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг... только сон...» Теперь это кажется невероятным.

*

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, — Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по каббалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал...
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?..
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил, и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди
И вереницей беспрерывной
Теснились песни на груди, —

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все», — очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.

*

В Веймаре, на родине Гёте, находящийся на возвышенности крупный объем гётевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.

*

Последние годы он много болел.

Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать...»

Он написал мне из Боткинской: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

Какой стыд охватил тогда меня за свое здоровое сердце, руки, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие угодья
к березам и дубам...

Я знал его в течение четырнадцати лет.

Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

*

В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...
Где столетняя пыль на Диане
и холсты...
В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца»...

Брат его, Александр Леонидович, преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учил-

ся. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду в его мастерской и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.

Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодел, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листами лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уж о Багрицком и Сельвинском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — все знают, казалось, — все могут
Кричавших кругом лебедей вожаки.
И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» — то есть «весь Ренуар», — к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака — «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех:

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки
Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом, — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет

«московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

*

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, — так вот, он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щиповский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стер-

той, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Супермен, он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, но не знали, что сын замечательного поэта и сын будущего отца знаменитого режиссера. Семья их бедствовала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стиляга в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Игра называлась «жосточка».

Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик, — как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры!..

Шиком старших были золотые коронки — «фиксы», которые ставились на здоровые зубы, а то и зашитые под кожу жемчужины. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Приводы в милицию за езду на подножках были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший друг Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни — забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свечу» ли, что горела на столе?..

Так же благодаря изящной мелодии впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мне нравится, что вы больны не мной».

*

Когда-то, говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета» (так впервые было напечатано это стихотворение). Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате опечатки «авва отче» предстало с латинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси...

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский Музей Дружбы народов приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмостки,
Прислонясь к дверному косяку.

Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и раздумий, одетый, как местный мастеровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

При его приближении вытягивались и замирали золотые клены возле афиногеновской дачи. Их в свое время привезла саженцами из-за океана и посадила вдоль аллеи Дженни Афиногенова, как говорили, урожденная сан-францисская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашеная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

*

Хоронили его 2 июня.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер.

Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межировский «москвич», на котором мы приехали.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им,

несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом...

Помню, я ждал его на другой стороне переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий прорезиненный плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганый мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель.

Поймем песни, которые он оставил нам.

1980

СОДЕРЖАНИЕ

З. Б. Богуславская. Предисловие 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПАРАБОЛА
Гойя 13
Пожар в Архитектурном институте 14
Осень в Сигулде 15
Параболическая баллада 17
Бьют женщину 19
На плотах 20
Сибирские бани 21
Тайгой 22
Вечер на стройке 23
Осень 24
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...» 25
Школьник 26
Кроны и корни 27
«Суздальская Богоматерь...» 28
Туманная улица 28
В магазине 29
Первый лед 30
Щипок 31
Торгуют арбузами 32
Последняя электричка 32
Тбилисские базары 33
Баллада точки 34
«Лежат велосипеды...» 35
«Сидишь беременная, бледная...» 35
Ода сплетникам 36
Баллада работы 38
Флорентийские факелы 40

Длиноного....41
Песня Офелии....43

ТРЕУГОЛЬНАЯ ГРУША
Мать....44
Сан-Франциско – Коломенское....45
Гитара....46
Мотогонки по вертикальной стене....47
Монолог битника....48
Футбольное....49
Второе вступление....50
Баллада с гитарой....51
«Напоили...»....52
Рок-н-ролл....53
Тишины!....55
Противостояние очей....56
«Нас много. Нас может быть четверо...»....57
Прощание с Политехническим....58
Рублевское шоссе....60

АНТИМИРЫ
«Я сослан в себя...»....62
Охота на зайца....63
Монолог Мерлин Монро....65
Больная баллада....68
Автопортрет....69
Замерли....70
«Мы – кочевые...»....70
«Сирень похожа на Париж...»....72
Париж без рифм....72
«Я – семья...»....76
Муромский сруб....76
Старухи казино....77
Возвращение в Сигулду....78
«Шарф мой, Париж мой...»....80
«Жизнь моя кочевая...»....81

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ
Ахиллесово сердце....83
Плач по двум нерожденным поэмам....84
«Матери сиротеют...»....87
«Благословенна лень, томительнейший плен...»....87
Бьет женщина....88
«Ты пролетом в моих городках...»....89
Зов озера....90

«Прости меня, что говорю при всех...» 92
«Умирайте вовремя...» 94
Киж-озеро 94
Монолог биолога 96
Шафер 97
«Жадным взором василиска...» 98
«Лист летящий, лист спешащий...» 98
Стрела в стене 99
Ливы 100
Декабрьские пастбища 101
Рано 103
«Проснется он от темнотищи...» 103
Снег в октябре 103

ТЕНЬ ЗВУКА

Осеннее вступление 105
Не пишется 108
Тоска 109
«Нам, как аппендицит...» 110
Морская песенка 112
«Слоняюсь под Новосибирском...» 113
Роща 114
«Графоманы Москвы...» 115
«В воротничке я...» 116
Морозный ипподром 117
Вальс при свечах 119
Языки 120
Уже подснежники 121
Старая песня 123
Бой петухов 124
Рождественские пляжи 125
«Наш берег песчаный и плоский...» 126
Горный монастырь 127
«На спинку божия коровка...» 127
Время на ремонте 128
«Живу в сторожке одинокой...» 130
«Сложи атлас, школярка шалая...» 131
Молитва 132

НЕ ОТРЕКУСЬ

«Не отрекусь...» 134
Уроки польского 135
«Кто мы – фишки или великие?..» 135
«Бегите – в себя, на Гаити, в костелы...» 136
Стриптиз 137

Забастовка стриптиза 138
Лирическая религия 140
«С ясеней, вне спасенья...» 141
«У речки-игруньи...» 142
Горный родничок 143
Туля 143
Елка 144
«Отзовись!..» 145
Рыбак Боков варит суп 146
Охотник 147
«Дали девочке искру...» 148
В. Б. 148
«Ты с теткой живешь. Она учит канцоны...» 149
Лунная Нерль 149
Вечеринка 150
Сентябрь 151
Лешенька 151
«В мире друзей, в мире транспорта долгого...» 152
Баллада 41-го года 152
Осенний Дилижан 153
Песня 154
«Я снова в детстве погостил...» 155
Монолог актера 155

ВЗГЛЯД

Сначала 157
«Ну что тебе надо еще от меня?..» 158
Песня акына 159
Реквием оптимистический 159
Сон 161
«Ты молилась ли на ночь, береза?..» 163
Водная лыжница 164
Художник и модель 165
Автомат 165
Жестокий романс 167
«Погадай, возьми меня за руку...» 167
«Что ты ищешь, поэт, в кочевье?..» 168
Похороны Гоголя Николая Васильича 168
Донор дыхания 171
Ода дубу 172
«Я – двоюродная жена...» 173
Женщина в августе 174
Две песни
I. Он 174
II. Она 176

Хозяйки 176
Спальные ангелы 177
Кромка 178

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Заповедь 179
«Не придумано истинней мига...» 180
«Приди! Чтоб снова снег слепил...» 180
Песня шута 180
«Ты поставила лучшие годы...» 182
На озере 182
«Мама, кто там вверху, голенастенький...» 183
«Мы обручились временем с тобой...» 183
Фиалки 183
«В человеческом организме...» 185
«Отчего в наклонившихся ивах...» 185
Выпусти птицу! 186
Сон 187
Повесть 188
«На суде, в раю или в аду...» 188
«Мы нарушили Божий Завет...» 189
«Айда, пушкинианочка...» 190
Старофранцузская баллада 190
В непогоду 191
Скука 192
Цветная песенка 193
Песенка из спектакля 194
Пасата 195
«Признаю искусство...» 197
Правила поведения за столом 197

ДУБОВЫЙ ЛИСТ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

«Стихи не пишутся – случаются...» 199
«Приснись! Припомни, бога ради...» 199
Васильки Шагала 199
Соловей-зимовщик 201
Муравей 203
Лесник играет 203
Аисты 204
Говорит мама 205
Королевская дочь 206
Лесалки 206
«Затосковала душа, охромела...» 207
Летописец 208
Новогоднее платье 208

Порнография духа 209
«Теряю свою независимость...» 211
«Расчищу Твои снегопады...» 212

ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР. *Ностальгия по настоящему*
Хобби света 213
Ностальгия по настоящему 214
Памятник 216
«Есть русская интеллигенция...» 217
Беловежская баллада 218
Звезда 219
Обмен 220
Молитва Микеланджело 221
«С иными мирами связывая...» 221
Похороны цветов 222
Вольноотпущенник времени 222
«Когда по Пушкину кручинились миряне...» 223
«Друг мой, мы зажились. Бывает...» 223
Российские селф-мейд-мены 223
Не забудь 224
Песчаный человечек 226
Эрмитажный Микеланджело 226
Засуха 227
Музе *(Надпись на избранном)* 227

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ
Романс 228
Реквием 228
Молитва спринтера 229
Монолог читателя на Дне поэзии — 1999 230
Красота 232
«Груша заглохшая, в чаще одна...» 233
«Не исчезай на тысячу лет...» 234
Мелодия Кирилла и Мефодия 235
Заплыв 235
Стеклозавод 236
«Под ночной переделкинский поезд...» 237
«Как сжимается сердце дрожью...» 238
Певец 238
«Живите не в пространстве, а во времени...» 239
«Все возвращается на круги свои...» 239
«Для души, северянки покорной...» 240
Свет вчерашний 240
Вторые рощи 240
«Я не ведаю в женщине той...» 241

Зарастающее озеро *(На мотив М. Чаклайса)*.....241
«Облака лежали штучные...».....243
«Если б тебя не было...» *(На мотив Г. Абашидзе)*.....243
Сон.....244
Анафема.....244
Оленья охота.....246

МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

Вслепую.....247
Молчальный звон.....248
Свеча.....250
«Увижу ли, как лес сквозит...».....250
«Нависает наполовину...».....251
Новый Арбат.....251
«В толпе меж рынком и кинотеатром...».....251
Яблоки с бритвами.....252
«Раму раскрыв, с подоконника, в фартуке...».....252
«Висит метла – как танцплощадка...».....253
Обсерватория.....253
Терновник.....253
Прости мне.....254
«Жил художник в нужде и гордыне...».....255
«На улице, где ты живешь...».....255
«Льнешь ли лживой зверью...».....256
Старый Новый год.....256

СОБЛАЗН

Сага.....258
Нечистая сила.....259
«Я внесу тебе клумбу зимнюю...».....259
«Я загляжусь на тебя, без ума...».....260
Скульптор свечей.....260
Север.....261
Испанская песня графа Резанова из оперы «„Юнона“ и „Авось“».....262
«Я год не виделся с тобою...».....262
Нырок.....263
Лесная малица.....264
Часы посещения.....264
Другу.....265
«Виснут шнурами вечными...».....265
Перед рассветом.....265
«Знай свое место, красивая рвань...».....266
«Я ошибся, вписав тебя ангелам в ведомость...».....267
Звезда над Михайловским.....267
Грех.....268

«Когда написал он Вяземскому...» 269
«Словно ввели в христианство тебя...» 270
«Сердце русского драматурга...» 270
Травматологическая больница 270
Фары дальнего света 271

МАЛЫЙ ЗАЛ

Мать («Я отменил материнские похороны...») 273
Вестница 275
Деревянный зал 276
Сестра 277
Пропорции 279
«Вижу, как сон, – ты стоишь в полукруге...» 280
«Иду я росой предпокосной...» 281
Рок 281
«Просто – наше шоссе и шиповник...» 282
Рябина в Париже 282
«Ах, летучая бусинка боли...» 283
Редкие кражи 283
«Нельзя в ту же реку стать дважды...» 285
«Тихо-тихо. Слышно точно...» 285
«Прошло много ли мало...» 285
Резиновые 286
Римский пляж 287
Штиль 287
Три скрипки 288
Ласточки 288

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Речь 290
Первый автобус 292
Безотчетное 293
Недописанная красавица 294
Невезуха 296
Свет друга 297
Трубадуры и бюргеры 298
Собака 299
Памяти Владимира Высоцкого 300
«Наверно, ты скоро забудешь...» 301
Устье 301
Размолвка 303
«Ты живешь до конца откровенно...» 304
Имена 304
Критику 305
«Я так считаю. А кто не смыслит...» 306

Монахиня моря 306
Мулатка 307
Черная береза 308
«У края поля, в непроглядном веке...» 308
Баллада 309

РАМА

«Был бы я крестным ходом...» 311
Дозорный перед полем Куликовым 311
Сайгак 313
У моря 313
Водяные 314
Воздушные лыжи 315
«Ни в паству не гожусь, ни в пастухи...» 316
Грузинские храмы 317
«Когда звоню из городов далеких...» 317
«Проходишь ты без попутчика...» 318
Окно 318
«Под утро ты придешь назад...» 319
«Мы все забудем, все с тобой забудем...» 320
«Я шел асфальтом. Серый день...» 320

ЧУВСТВУЮ – СТАЛО БЫТЬ, СУЩЕСТВУЮ

Ода одежде 321
Кошка 322
«Любовь и горе – вне советов...» 322
Думайте поступками 323
Женщина перед зеркалом *(На мотив В. Смита)* 323
Тоска 325
Лыжник 325
Мороз 326
Квартира 327
«Пасечник нашего лета...» 328
«От Ховрина и до Мехико...» 329
Полюс 330
Берег 330
Из якутского дневника 330
Тюльпаны на полюсе 331
У костра 332
«Соскучился. Как я соскучился...» 332
«Оправдываться – не обязательно...» 333
«Я помню птиц неутолимой Вечности...» 333
«Соловьиная перспектива...» 333

Яблонька 334
В полях безоглядных 334
Афиногеновские клены 334
Идиллия 336
«Снимите личины, статисты речистые...» 336
«Я вернусь, когда в город уйдешь...» 337
Спасательная станция 337
Спасатель 338
Лондонский мост *(На мотив В. Смита)* 339
«Пусть на суше взывает доблестно...» 340
Никогда *(На мотив В. Смита)* 340
Прощание с Венецией 340
«Когда всегда передо мной...» 341
«Как хорошо найти...» 342
Цветы на стволе 342
Воспоминания о земном притяжении 343
«Твои волосы – долгие, на удивление...» 343
«Когда ты забираешь наверх под кепку волосы...» 344
«Зашторены закаты...» 344
Недоумение 345

Я ПЕЛ ХОРАЛЫ И ХИТЫ

Романс из оперы «„Юнона“ и „Авось“» («Белый шиповник, дикий шиповник...») 348
Песня 349
Матросы 349
Предсмертная песнь Резанова («Я умираю от простой хворобы...») 350
Кончитта 351
Свадебная песнь 352
Песня кабацких разбойников 353
Стихи для детей 353
Песня на «бис» 353
Ресторан 354
Регтайм 355
Небесный человек 356
Человек-магнитофон 357
Миллион роз 357

НЕ ОТРЕКУСЬ!

«Не понимать стихи – не грех...» 359
«В пору, когда зацветает акация...» 359
После последней войны 360
К барьеру! *(На мотив Ш. Ниинианидзе)* 360
Чары Чаплина 361

«За тобою прожженные годы...» 362
«Распрямились года, как вода...» 362
Кредо 363
«Нас посещает в срок...» 363
Беатриче 364
Ты чудо вся – даже пустяк такой! 364
«Когда устали в небесах скитаться...» 364
«Заслышу ль рифму в перелеске...» 365
«Мужчины с черными раскрытыми зонтами...» 365
Пианистка 365
«Как белоснежно, как бездонно...» 366
Над омутом 367
«Все конкретней и необычайней...» 367
«Малина и крапива. Зеленое и розовое...» 367
Елка 368
«Взад-вперед походкой челночной...» 368
«Медновзметенная гора...» 369
«В доме негусто, но пиршество взору...» 369
Новоселье 369
Верба 369
Гость у костра 370
Распутин *(На мотив Ш. Нишнианидзе)* 371
Свадьба 372
«В больничном саду воскресник...» 372
«В век варварства и атома...» 373
Первый снег 373
«Вызывайте ненависть на себя почаще...» 374
Сонет с узлом 375
Шекспировский сонет 375
Портрет 376
«Я обожаю воздух сосновый...» 377
«Остерегите истеричек...» 377
Фрески 378
Прорабы духа 378
Открытка 380
Три синих 381
«Две школы – женская, мужская...» 382

ОРЛЫ И ОРДЫ

Сладострастие 384
Распусти волосы 385
Платите женщине 386
Лесной регтайм 387
Цикламена 388
«Я тебя очень... Мы фразу не кончим...» 389

МЫ ЛЮБОВНИКИ, МОРЕ

Русский эрос 390
«Ресторан качается, точно пароход...» 391

ПЕРИСКОПЫ

Нирвана 392
Школьница 394
Улет 394
«Мотыльковый твой возраст...» 396

В ДНИ НЕСЛЫХАННО БОЛЕВЫЕ

Молитва. *Из поэмы «Кара Карфагена»* 397
Гарь 397
«Я последний поэт России...» 398

ЯМБЫ И БЛЯМБЫ

Теряю голос 399
Боль 401
Жизнь 403
Дом с ручкой 403
«Мы уплывали вместе, обняв мой крест...» 404

ПОЭМЫ

Мастера 407
Лонжюмо 417
Оза. *Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы* 427
Авось! 447
Андрей Полисадов 467
Ров. *Духовный процесс* 490
Россия Воскресе 535

МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ. *Рифмы прозы* 559

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Татьяна Фролова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректоры Валерий Камендо, Валентина Гончар

Подписано в печать 19.07.2013. Формат издания 60 × 90 $^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 38.
Заказ № 7239.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ООО «Тульская типография»
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

KAMS1413701R

Оформление серии И. Кучмы

На обложке: Андрей Вознесенский (1978)
© Владимир Савостьянов 1978 г./Фото ИТАР-ТАСС